

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Исповедь. Максим Горький

...Позвольте рассказать жизнь мою; времени повесть эта отнимет у вас немного, а знать её – надобно вам.

Я – крапивник, подкидыш, незаконный человек; кем рождён – неизвестно, а подброшен был в экономию господина Лосева, в селе Сокольем, Красноглинского уезда. Положила меня мать моя – или кто другой – в парк господский, на ступени часовенки, где схоронена была старая барыня Лосева, а найден я был Данилой Вяловым, садовником. Пришёл он рано утром в парк и видит: у двери часовни дитя шевелится, в тряпки завернуто, а вокруг кот дымчатый ходит.

У Данилы прожил я до четырёх лет, но он сам многодетный был, кормился я где попало, а когда пищи не найду, – попищу, попищу да голоден и засну.

Четырёх лет взял меня к себе дьячок Ларион, человек одинокий и чудесный; взял он меня для скуки своей. Был он небольшого роста, круглый и лицо круглое; волосы рыжие, а голос тонкий, подобно женскому, и сердце имел тоже как бы женское – до всех ласковое. Любил вино пить и пил помногу; трезвый молчалив бывал, глаза полузакрыты всегда, и вид имел человека виноватого пред всеми, а выпивши – громко ирмосы и тропари пел, голову держал прямо и всякому улыбался.

От людей в стороне стоял, жил бедно, надел свой попу отдал, а сам, зиму и лето, рыбу ловил да – забавы ради – птиц певчих, к чему и меня приучил. Любил он птиц, и они не боялись его; умилительно вспомнить, как, бывало, бегают поползень – птица очень дикая – по рыжей голове его и путается в огневых волосах. Или сядет на плечо и в рот ему заглядывает, наклоня умную голову свою. А то ляжет Ларион на лавку, насыплет конопли в голову и в бороду себе, и вот слетятся чижи, щеглята, синицы, снегири роятся в волосах дьячка, по щекам лазят, уши клюют, на нос ему садятся, а он лежит и хохочет, жмуря глаза да ласково беседуя с ними. Завидовал я ему в этом – меня птицы боялись.

Нежной души человек был Ларион, и все животные понимали это; про людей того не скажу – не в осуждение им, а потому, что, знаю, – человека лаской не накормишь.

Зимой трудновато бывало ему: дров нет и купить не на что, деньги пропиты; в избёнке, как в погребе, холодно, только пичужки щебечут да поют, а мы с ним, лёжа на холодной печи, всем, чем можно, окутаемся и слушаем птичье пение... Ларион им подсвистывает – хорошо умел! – да и сам был похож на клеста: нос большой, крюком загнутый, и красная голова. А то, бывало, скажет мне:

– Вот, слушай, Мотья, – меня Матвеем окрестили, – слушай!

Ляжет на спину, руки под голову, зажмурит глаза и заведёт своим тонким голосом что-нибудь из литургии зауспокойной. Птицы замолчат, прислушаются, да потом и сами вперебой петь начнут, а Ларион пуще их, а они ярятся, особенно чижи да щеглята или дрозды и скворцы. До того он допоеётся, бывало, что сквозь веки из глаз у него слёзы текут, щёки ему мочат и, омытое слезами, станет серым лицо его.

От такого пения иной раз жутко становилось, и однажды я сказал ему тихонько:

– Что ты, дядя, всё про смерть поёшь?

Перестал он, поглядел на меня и говорит, смеясь:

– А ты не бойся, глупый! Это ничего, что смерть, зато – красиво! В богослужении самое красивое – зауспокойная литургия: тут ласка человеку есть, жалость к нему. У нас, кроме покойников, никого не умеют жалеть!

Слова эти – хорошо помню, как и все его речи, но понимать их в ту пору я, конечно, не мог. Детское только перед старостью понятно, в самые мудрые годы человека.

Помню тоже – спросил я его: почему бог людям мало помогает?

- Не его это дело! - объяснил он мне. - Сам себе помогай, на то тебе разум дан! Бог - для того, чтобы умирать не страшно было, а как жить - это твоё дело!

Рано забыл я эти речи его, а вспомнил - поздно, и оттого много лишнего горя перенёс.

Замечательный был человек! Все люди, когда удят, не кричат, не разговаривают, чтобы не пугать, - Ларион поёт неумолчно, а то рассказывает мне жития разные или о боге говорит, и всегда к нему рыба шла. Птиц ловят тоже с осторожностью, а он всё время свистит, дразнит их, беседы с ними ведёт, и - ничего! - идёт птица и в чалки и в сеть. Опять же - насчёт пчёл - рои отсаживать или что другое, - старые пчеляки с молитвой это делают, и то не всяк раз удаётся им, позовут дьячка - он бьёт пчел, давит их, ругается матерно, - а всё сделает в лучшем виде. Не любил он пчёл: они у него дочь ослепили. Забралась на пчельник девочка - три года было ей, - а пчела её в глаз и чикнула; разболелся глазок да ослеп, за ним - другой, потом девочка померла от головной боли, а мать её сошла с ума...

Да, всё он делал не как люди, ко мне ласков был, словно мать родная; в селе меня не очень жаловали: жизнь - тесная, а я - всем чужой, лишний человек. Вдруг чей-нибудь кусок незаконно съем...

Приучил меня Ларион ко храму, стал я помогать ему по службе, пел с ним на клиросе, кадило зажигал, всё делал, что понадобится; сторожу Власию помогал порядок в церкви держать и любил всё это, особенно зимой. Церковь-то деревянная, топили её хорошо, тепло было в ней.

Всенощная служба больше утренней приятна мне была; к ночи, трудом очищенные, люди отрешаются от забот своих, стоят тихо, благолепно, и теплятся души, как свечи восковые, малыми огоньками; видно тогда, что хоть лица у людей разные, а горе - одно.

Ларион любил службу во храме: закроет глаза, голову рыжую кверху закинет, кадык выпятит и - зальётся, запоёт. До того доходил, что и лишнее певал, - уж поп ему из алтаря знаки делает - куда, дескать, тебя занесло? И читал тоже прекрасно, нараспев, звонко, с ласкою в голосе, с трепетом и радостью. Поп не любил его, он попа - тоже и не раз, бывало, говорил мне:

- Какой это священник! Он не поп, а барабан, по которому нужда и привычка палками бьют. Был бы я попом, я бы так служил, что не токмо люди святые иконы плакали бы!

И это верно - нехорош был поп на своём месте: лицо курносое, чёрное, словно порохом опалено, рот широкий, беззубый, борода трёпаная, волосом жидок, со лба - лысина, руки длинные. Голос имел хриплый и задышался, будто не по силе ношу нёс. Жаден был и всегда сердит, потому - многосемейный, а село бедное, з`емли у крестьян плохие, промыслов нет никаких.

Летом, когда и комар богат, мы с Ларионом днём и ночуем в лесу, за охотой на птиц, или на реке, рыбу ловя. Случалось - вдруг треба какая-нибудь, а дьячка нет, и где найти его - неведомо. Всех мальчишек из села разгонят искать его; бегают они, как зайчата, и кричат:

- Дьячок! Ларивон! Аида домой!

Едва найдут... Поп ругается, жалобой грозит, а мужики - смеются.

Был у него один дружок, Савёлка Мигун, ворище известный и пьяница заливной, не раз бит бывал за воровство и даже в остроге сидел, но, по всему прочему, - редкостный человек! Песни он пел и сказки говорил так, что невозможно вспомнить без удивления.

Множество раз я его слышал, и теперь вот он предо мною жив стоит: сухонький, юркий, бородёнка в три волоса, весь оборванный, рожа маленькая, клином, а лоб большой, и под ним воровские развесёлые глаза часто мигают, как две тёмные звезды.

Бывало, притащит он бутылку водки, а то Лариона заставит купить, сядут они друг

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
против друга за стол, и говорит Савёлка:

- А ну-ко, дьяче, валяй "Покаяние"!

Выпьют... Ларион поконфузится немножко да и запоёт, а Савёлка сидит, как пришитый, мигает, бородёнкой трясёт, слёзы на глазах у него, лоб рукой поглаживает и улыбается, сгоняя пальцами слезинки со щёк.

Потом подскочит, как мяч, кричит: ,

- Очень превосходно, Ларя! Ну, и завидую я господу богу - хорошо песни сложены ему! Человек-то, Ларя, а? Каков есть человек, сколь он добр и богат душой, а? Ему ли уж не трудно перед богом ходить! А он - вот как - на! Ты мне, господи, - ничего, а я тебе - всю душу!

- Не кощунь! - скажет Ларион.

- Я? - кричит Савёлка. - Нисколько! Даже и в помыслах нет! Где же я кощуню? Никак! Радуюсь за бога - и больше ничего! Ну, а теперь я тебе спою!

Встанет, руку вытянет и начнёт колдовать. Пел он тихо, таинственно пел, глаза широко раскроет, зажгёт их каким-то особенным огнём, и на вытянутой руке его сухие пальцы шевелятся всегда, словно ищут чего-то в пустоте. Ларион к стене отвалится, опираясь руками о скамью, откроет рот и смотрит удивлённый; я на печи лежу, а сердце у меня замирает печально-сладостно. Потемнеет весь Савёлка, только мышинные зубы его блестят, да сухой язык шевелится, как у змеи, и пот на лбу выступит крупными каплями. Голосу у него - конца нет, так и льётся, так и светится, подобно ручью в поле. Кончит, покачивается, оботрёт лицо ладонью, выпьют оба и долго молчат. Потом Савёлка просит:

- А ну-ко, Ларя, "Волною морскою"!

И так они весь вечер друг друга утешают, пока не спьянятся оба; тогда Мигун начинает похабные сказки сказывать про попов, помещиков, царей; дьячок хохочет и я тоже, а Савёлка без устали сказку за сказкой вяжет и так смешно, что впору задохнуться со смеху.

А ещё лучше он по праздникам у кабака певал: встанет пред народом, зажмурится крепко, так что на висках морщины лягут, да и заведёт; смотришь на него - и словно песня в грудь ему из самой земли исходит: и слова ему земля подсказывает, и силу голосу дает. Стоят и сидят вокруг мужики; кто голову опустил и соломинку грызёт, иной смотрит в рот Савёлке и весь светится, а бабы даже плачут, слушая.

Кончит он - просят:

- Валяй, брат, ещё! Выпить поднесут.

Был про Мигуна такой рассказ: украл чего-то в селе, поймали его мужики да и говорят:

- Ну, - кончено твоё дело! Теперь мы удавим тебя, невтерпёж нам ты!

А он будто отвечает:

- Бросьте, мужики, не дело затеяли! Краденое вы у меня отняли, стало быть - ничего вами не потеряно, - имение всегда новое можно нажать, а такого человека, как я, - где вам взять? Кто вас утешит, как не будет меня?

- Ладно, - говорят, - толкуй!

Повели его в лес вешать, а он дорогой и запел. Сначала шли торопились, потом перестали спешить, а пришли к лесу - и готова веревка, но ждут, когда он кончит последнюю песню свою, а потом говорят друг другу:

- Пускай ещё одну споёт, это ему вместо отходной будет!

Спел он и ещё, а тут солнышко взошло, оглянулись люди - ясный день с востока идёт, Мигун среди них улыбается, ожидает смерть без страха. Сконфузились мужики.

- Ну его, ребята, ко всем псам! - говорят. - Удавишь - греха да склоки разной не оберёшься.

И порешили не трогать Мигуна.

- За талант твой, - говорят, - мы те и в пояс поклонимся, а за воровство всё-таки должны бока намять.

Побили его легонько да вместе с ним и пошли назад.

Всё это, может быть, и выдуманно, да уж очень лестно про людей говорит и Савёлку хорошо ставит. А ещё и то подумайте: коли люди этак складно сказки сказывают, стало быть - не больно плохи они, а в том и вся суть!

Не только песни пели, но и о многом разговаривали Савёлка с Ларионом, часто - о дьяволе: не в чести он был у них.

Помню, раз говорит дьячок:

- Дьявол есть образ злобы твоей, отражение духовной тьмы...

- Глупость моя, значит? - спрашивает Савёлка.

- Именно она - и больше ничего!

- Должно быть, так и есть! - смеясь, говорит Мигун. - А то, кабы он жив был, давно бы ему сцапать меня надобно!

Совсем на верил Ларион в чертей; помню, на гумне, споря с мужиками-раскольниками, кричал он им:

- Не дьявольское, но - скотское! Добро и зло - в человеке суть: хотите добра - и есть добро, зла хотите - и будет зло от вас и вам! Бог не понуждает вас на добро и на зло, самовластны вы созданы волею его и свободно творите как злое, так и доброе. Дьявол же ваш - нужда и тьма! Доброе суть воистину человеческое, ибо оно - божие, злое же ваше - не дьявольское, но скотское!

Они ему кричат:

- Еретик рыжий!

А он - своё.

- Оттого, - говорит, - дьявол и пишется рогат и козлоног, что он есть скотское начало в человеке.

Лучше всего о Христе Ларион говорил: я, бывало, плакал всегда, видя горькую судьбу сына божия. Весь он - от спора в храме с учёными до Голгофы - стоял предо мною, как дитя чистое и прекрасное в неизречённой любви своей к народу, с доброй улыбкой всем, с ласковым словом утешения, - везде дитя, ослепительное красотою своею!

- И с мудрецами храма, - говорил Ларион, - как дитя, беседовал Христос, оттого и показался им выше их в простой мудрости своей. Ты, Мотя, помни это и старайся сохранить в душе детское твоё во всю жизнь, ибо в нём - истина!

Спрашивал я его:

- А скоро опять Христос придёт?

- Скоро уже! - говорит. - Скоро, - слышно, что люди снова ищут его!

Вспоминая теперь Ларионовы слова, кажется мне, что видел он бога великим мастером прекраснейших вещей, и человека считал неумелым существом, заплутавшимся на путях земных, и жалел его, бесталанного наследника великих богатств, богом ему отказанных на сей земле.

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

У него и у Савёлки одна вера была. Помню, икона чудесно явилась у нас на селе. Однажды рано утром по осени пришла баба до колодца за водой и вдруг видит: но тьме на дне колодца – сияние. Собрала она народ, земский явился, поп пришёл, Ларион прибежал, спустили в колодезь человека, и поднял он оттуда образ "Неопалимой купины". Тут же начали молебен служить, и решено было часовню над колодцем поставить. Поп кричит:

– Православные, жертвуйте!

Земский тоже приказывает, и сам трёшницу дал. Мужики развязали кошелю, бабы усердно холсты тащат и всякое жито, по селу ликование пошло, и я был рад, как в день светлого Христова воскресения.

Но ещё во время молебна видел я, что лицо Ларионово грустно, и не смотрит он ни на кого, а Савёлка, словно мышь шныряя в толпе, усмехается. Ночью я ходил смотреть на явленную: стояла она над колодцем, источая дыму подобное голубовато-светлое сияние, будто некто невидимый ласково дышал на неё, грея светом и теплом; было и жутко и приятно мне.

А пришёл я домой, слышу – Ларион грустно говорит:

– Нет такой божьей матери!

И Савёлка тянет, смеясь:

– Я зна-аю! Чай, Моисей-то задолго до Христа был! Каковы жулики? Чудо, а? Ах вы, чудаки!

– В тюрьму бы за это и земского и попа! – тихо-тихо говорит Ларион. Чтобы не убивали они, корысти своей ради, бога в людях!

Я чувствую – неприятен мне этот разговор, и спрашиваю с печи:

– Вы про что говорите, дядя Ларион?

Замолчали они, шепчутся оба, видимо, обеспокоились.

Потом Савёлка кричит:

– Ты – чего? Сам на людей жалуешься – дураки, и сам же, без стыда, дурака делаешь из Матвейки? Зачем?

Подскочил и говорит мне:

– Гляди, Мотья, вот – спички! Вот – я их растираю в руках... Видишь? Гаси огонь, Ларион!

Погасили лампу, и, вижу я, в темноте две Савёлкины руки сияют тем же дымом голубым, как и явленная икона. Страшно и обидно было видеть это.

Савёлка чего-то говорит, а я в угол печи забился и уши себе пальцами заткнул. Тогда влезли они оба ко мне – водку тоже взяли – и долго, наперебой, рассказывали мне об истинных чудесах и обманном надругательстве над верою людей. Так я и заснул под их речи.

А через два-три дня приехало множество попов и чиновников, икону арестовали, земского с должности сменили, попа тоже настрашали судом. Тогда и я поверил в обман, хоть и трудно было мне согласиться, что всё это только для того сделано, чтобы у баб холсты, у мужиков пятаки вытянуть.

Ещё когда минуло мне шесть лет, начал Ларион меня грамоте учить по-церковному, а через две зимы у нас школу открыли, – он меня в школу свёл. Сначала я несколько откачнулся от Лариона. Учиться понравилось мне, взялся я за книжки горячо, так что он, бывало, спросит урок у меня и, прослушав, скажет:

– Славно, Мотья!

А однажды сказал:

- Хорошая кровь в тебе горит, видно, не глуп был твой отец!

Я спрашиваю:

- А где он?

- Кто ж это знает!

- А он - мужик?

- Наверное одно можно сказать - мужчина. А насчет сословия неизвестно. Едва ли мужик однако! По лицу твоему да по коже - кроме характера - из господ, видать!

Запали эти случайные слова его в память мне и не принесли добра. Назовут меня в школе подкидышем, а я - на дыбы и кричу товарищам:

- Вы - мужичьи дети, а мой отец - барин!..

Очень я утвердился на этом - надо обороняться чем-нибудь против насмешек, а иной обороны не было на уме. Не взлюбили меня и уж начали зазорно звать, а я - драться стал. Парнишка крепкий был, дрался ловко. Пошли на меня жалобы, говорят дьячку люди, отцы и матери:

- Уйми своего приبلудного!

А иные и без жалоб, сами за уши драли, сколько хотелось.

Тогда Ларион сказал мне:

- Может ты, Матвей, даже генеральский сын, только это - не велика важность! Все родятся одинаково, стало быть, и честь одна для всякого.

Но уж опоздал он - мне в ту пору было лет двенадцать, и обиды я чувствовал крепко. Потянуло меня в сторону от людей, снова стал я ближе к дьячку, целую зиму мы с ним по лесу лазили, птиц ловили, а учиться я хуже пошёл.

Кончил я школу на тринадцатом году; задумался Ларион, что ему дальше делать со мной? Бывало, плывём мы с ним в лодке, я - на вёслах, а он - на руле, и водит он меня в мыслях своих по всем тропам судьбы человеческой, рассказывает разные планы жизни.

И попом он меня видит, и солдатом, и приказчиком, а везде нехорошо для меня!

- Как же, Мотька? - спрашивает.

Потом поглядит на меня и скажет, смеясь:

- Ничего, не робей! Коли не сорвёшься, так вылезешь! Только солдатства избегай, там человеку - крышка!

В августе, вскоре после успеньева дня, поехали мы с ним на Любушин омут сомят ловить, а был Ларион малость выпивши, да и с собой тоже вино имел. Глотает из бутылки понемножку, крикает и поёт на всю реку.

Лодка у него плохая была, маленькая и валкая, повернулся он в ней резко, зачерпнула она бортом, - и очутились мы оба в воде. Не первый раз случилось это, и не испугался я. Вынырнул - вижу, Ларион рядом со мной плавает, трясёт головой и говорит:

- Плыви на берег, а я окаянное корыто буду гнать туда!

Недалеко от берега было, течение слабое, я плыву совсем спокойно, но вдруг, словно за ноги меня дёрнуло или в студёную струю попал, обернулся назад: идёт наша лодка вверх дном, а Лариона - нет. Нет его нигде!

Словно камнем, ударило меня страхом в сердце, передёрнуло судорогой, и пошёл я ко дну.

В тот час ехал полем приказчик из экономии, Егор Титов, видел он, как перевернулись мы, видел, как Ларион пропал; когда я стал тонуть – Титов уже раздевался на берегу. Он меня и вытащил, а Лариона только ночью нашли.

Погасла милая душа его, и сразу стало для меня темно и холодно. Когда его хоронили, хворый я лежал и не мог проводить на погост дорогого человека, а встал на ноги – первым делом пошёл на могилу к нему, сел там и даже плакать не мог в тоске. Звенит в памяти голос его, оживают речи, а человека, который бы ласковую руку на голову мне положил, больше нет на земле. Всё стало чужое, далёкое... Закрыв глаза, сижу. Вдруг – поднимает меня кто-то: взял за руку и поднимает. Гляжу – Титов.

– Нечего, – говорит, – тебе делать тут, идём!

И повёл меня. Я – иду.

Говорит он мне:

– Видно, сердце у тебя, мальчонка, хорошее, добро помнит.

А мне от этого не легче. Молчу. Дальше говорит Титов:

– Ещё в то время, как подкинули тебя, думал я – не взять ли ребёнка-то себе, да не успел тогда. Ну, а видно, что господь этого хочет, – вот он снова вручил жизнь твою в руки мне. Значит, будешь ты жить со мной!

Мне тогда всё едино было – жить, не жить, и как жить, и с кем... Так я и встал с одной точки на другую незаметно для себя.

Через некоторое время огляделся. Титов этот – мужчина высокий, угрюмый, стриженный, как солдат, с большими усами и бритой бородой. Говорил не спеша, как бы опасаясь лишнее сказать или сам слову своему не веря. Руки всегда за спиной, а то в карманах держал, словно стыдился их. Знал я, что мужики на селе – да и во всей округе – не любят его, а года два назад, в деревеньке Малининой, даже колом ударили. Говорили – он с пистолетом ходит всегда. Жена его, Настасья Васильевна, была женщина красивая, только болела; худая, едва ходит, лицо без кровинки, а глаза большие, горят сухо и боязливо таково. Дочь у них, Оля, на три года моложе меня, тоже хилая и бледненькая.

И всё вокруг них тихо: на полу толстые половики лежат, шагов не слышать, говорят люди мало, вполголоса, – даже часы на стене осторожно постукивают. Пред иконами неугасимые лампы горят, везде картинки наклеены: страшный суд, муки апостольские, мучения святой Варвары. А в углу на лежанке старый кот лежит, толстый, дымчатый, и зелёными глазами смотрит на всё – блюдет тишину. В тишине этой осторожной ни Ларионова пения, ни птиц наших долго не мог я забыть.

Свёл меня Титов в контору и начал приучать к бумажному делу. Живу. Вижу – следит за мной Титов, присматривается, молчит, словно ожидает чего-то от меня. Неловко мне.

Весёлым я никогда не был, а в то время и совсем сумрачен стал; говорить – не с кем да и не хочется.

Мутно было на душе у меня, не нравились мне Титовы подозрительной тишиной жизни своей. Стал я ходить в церковь, помогать сторожу Власию да новому дьячку, – этот был молодой, красивый, из учителей какой-то; к службе лентяй, с попом подхалим, руку ему целует, собачкой бегает за ним по пятам. На меня кричит, а – напрасно, потому что я службу знал не хуже его и делал всё как надо.

В ту пору и начал я трудную жизнь мою – бога полюбил.

Поправляя однажды перед всенощной свечи у иконы богородицы, вижу – и она и младенец смотрят на меня серьёзно и задушевно таково... Заплакал я и встал на колени пред ними, молясь о чём-то – за Лариона, должно быть. Долго ли молился – не знаю, но стало мне легче – согрелся сердцем и ожил я.

Власий в алтаре трудился, бормочет там свои непонятные речи. Вошёл я к нему,

взглянул он на меня, спрашивает:

- Что обрадовался, али копейку нашёл?

Знал я, почему он так спросил, - часто я деньги на полу находил, - но теперь неприятны показались мне слова его, как бы ущипнул он меня за сердце.

- Богу я помолился, - говорю.

- Которому? - спрашивает. - Их тут у нас больше ста, богов-то! А вот где - живой? Где - который настоящий, а не из дерева, да! Поищи-ка его!

Цена его слов известна мне была, а обидели они меня в тот час. Власий - человек древний, уже едва ноги передвигал, в коленях они у него изогнуты, ходит всегда как по жёрдочке, качаясь весь, зубов во рту - ни одного, лицо тёмное и словно тряпка старая, смотрят из неё безумные глаза. Ангел смерти Власия тоже древен был - не мог поднять руку на старца, а уже разума лишился человек: за некоторое время до смерти Ларионовой овладел им бред.

- Не церкви, - говорит, - я сторож, а скоту: пастух я, пастухом родился и так умру! Вот - скоро отойду от церкви в поле.

Известно было - скота он никогда не пас.

- Церковь, - говорит, - то же кладбище, место мёртвое, а я - к живому делу хочу, скотинку пасти надобно мне, все мои деды пастухами были, и я тоже до сорока двух лет.

Ларион смеялся над ним и однажды, смеясь, спросил:

- Был в древности велес, скотий бог, - не пращур ли твой?

Заставил его Власий рассказать про Велеса подробно, а выслушав, говорит:

- Так и есть! Я давно знаю, кто я таков, да боюсь попа! Ты погоди, дьячок, не говори ему! Придёт время - я сам скажу, да...

На этом и остановился старик.

И вот, хотя знаю я безумие его, а смущает он меня.

- Смотри, - говорю, - разразит тебя бог!

А он шамкает:

- я сам - бог! Да!

И вдруг, запнувшись за подножие, едва не упал, а я понял это как знамение.

Ревностно любил я церковное; со всем жаром сердца ребячьего окунулся в него, так, что всё священно стало для меня, не только иконы да книги, а и подсвечники и кадило, самые угли в нём - и те дороги! Ко всему прикасаюсь с трепетом, с жуткой радостью, в алтарь войду - сердце замирает, камни пола готов целовать. Чувствую себя в луче ока всевидящего, и направляет оно шаги мои, обнимая силою нездешнею, грея светом ярким, от которого глаза слепнут и не видит человек ничего кроме, как только себя. Стою, бывало, один во храме, тьма кругом, а на сердце - светло, ибо в нём - бог и нет места ни детским печалям, ни обидам моим и ничему, что вокруг, что есть жизнь человеческая. Близость к богу отводит далеко от людей, но в то время я, конечно, не мог этого понять.

Начал книги читать церковные - все, что были; читаю - и наполняется сердце моё звоном красоты божественного слова; жадно пьёт душа сладость его, и открылся в ней источник благодарных слёз. Бывало, приду в церковь раньше всех, встану на колени перед образом Троицы и лью слёзы, легко и покорно, без дум и без молитвы: нечего было просить мне у бога, бескорыстно поклонялся я ему.

Помню Ларионовы слова:



Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Иже уста твоя моляся - воздуху молятся, а не богу; бог бо мыслям внимает, а не словам, яко человеки.

А у меня даже и мыслей не было: просто стою на коленях и как бы молча радостную песнь пою, радуюсь же тому, что понимаю - не один я на свете, а под охраной божией и близко ему.

Было это время хорошо для меня, время тихо-радостного праздника. Любил я один во храме быть, и чтобы ни шума, ни шелеста вокруг - тогда, в тишине, пропадал я, как бы возносился на облака, с высоты их все люди незаметны становились для меня и человеческое - невидимо.

Но Власий мешал мне: шаркает ногами по плитам пола, дрожит, как тень дерева на ветре, и бормочет беззубым ртом:

- Не к чему мне тут быть, разве это моё дело! Сам я бог, пастырь всего скота земного, да! И уйду завтра в поле! На что загнали меня сюда, в холод, в темноту?. Моё ли дело?

Тревожил он меня кощунством своим, - думалось мне - нарушает он чистоту храма, и богу обидно видеть его в доме своём.

О ту пору замечено было благочестие и рвение моё, так что поп стал при встрече как-то особенно носом сопеть и благословлял меня, а я должен был руку ему целовать - была она всегда холодная, в поту. Завидовал я его близости к тайнам Божиим, но не любил и боялся.

А Титов всё зорче смотрел на меня маленькими, тусклыми, как пуговицы, глазками. Все они обращались со мной осторожно, словно я стеклянный был, а Ольгунька не раз тихонько спрашивала меня:

- Ты святой?

Робела она предо мною, даже когда я ласков с нею бывал и рассказывал ей жития или что другое, церковное. Зимой по вечерам я пролог или mineю вслух читал. За окнами вьюга бесприютная по полю мечется, в стены стучит, стонет и воет, озыбая. В комнате тихо, все сидят, не шелохнутся; Титов голову низко опустит, не видать его лица, Настасья неподвижными глазами смотрит на меня, Ольгунька дремлет, ударит мороз - она вздрогнет, оглянется и тихонько улыбнётся мне. Иной раз, не поняв какое-нибудь слово церковное, переспросит она - прозвенит мягкий голосок её, и снова тихо, только вьюга крылатая жалобно поёт, ищет отдыха, по полю летая.

Те святые мученики, кои боролись за господу, жизнью и смертью знаменуя силу его, - эти были всех ближе душе моей; милостивцы и блаженные, кои людям отдавали любовь свою, тоже трогали меня, те же, кто бога ради уходили от мира в пустыни и пещеры, столпники и отшельники, непонятны были мне: слишком силен был для них сатана.

Ларион отвергал сатану, а надо было принять его, жития святых заставили - без сатаны непонятно падение человека. Ларион видел бога единым творцом мира, всемогущим и непобедимым, - а откуда же тогда безобразное? По житиям святых выходило, что мастер всего безобразного и есть сатана. Я и принял его в такой должности: бог создает вишню, сатана - лопух, бог жаворонка, сатана - сова.

Но вышло как-то так, что хоть я и признал сатану, а не поверил в него и не убоялся; служил он для меня объяснением бытия зла, но в то же время мешал мне, унижая величие божие. Старался я об этом не думать, но Титов постоянно наводил меня на мысли о грехе и силе дьявола.

Читаю я, а он, вдруг и не показывая глаз, спрашивает:

- Матвей, что значит - камо?

Отвечаю:

- Куда...

Помолчав, он говорит:

- Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бегу?

Жена его глубоко вздохнёт и ещё более испуганно смотрит на меня, чего-то ожидая. И Ольга, мигая синими глазками, предлагает:

- А - в лес?

- Гряду - значит иду? - спрашивает Титов.

- Да.

Вынул он, помню, руки из карманов и стал крутить обеими свои длинные усы, а брови на лбу у него дрожат. Потом быстро спрятал руки и говорит:

- Это царь Давид спрашивал - камо бегу! Царь, а боялся! Видно, дьявол-то много сильнее его был. Помазанник божий, а сатана одолел... Камо гряду? К чёрту в лапы грядёшь - и спрашивать нечего! Вот оно как! Значит нам, холопам, нечего и вертеться, коли цари туда поспевают.

Ходил он по этой тропе часто, и хотя я речей его не понимал, неприятны они мне были всегда. О благочестии моём всё больше говорили, и вот Титов начал внушать мне:

- Молись усердно за меня и за всю мою семью, Матвей! Очень я тебя прошу - молись! Пусть это будет платой твоей за то, что приютил я тебя в тепле и в ласке.

А мне что? Молитва моя без содержания была, вроде птичьей песни солнцу, - стал я молиться за него и за жену, а больше всего за Ольгуньку, очень хорошая девочка росла, тихая, красивая, нежная. Обращался я к богу словами псалмов Давидовых, а также всеми другими молитвами, какие знал, и было приятно мне твердить про себя складные, певучие слова, но как только вспомню Титова, скажу: "Помилуй, господи, великою милостию твоею раба твоего Георгия..." - и вдруг остынет сердце, и как бы иссякнет ручей молитвословия моего, замутится ясность радости, словно стыдно мне перед богом, - не могу больше! И, потупя глаза, чтобы не видеть лика на иконе, встаю на ноги, не то - огорчён, не то - сконфужен. Беспокоило это меня - почему так случается? Старался понять и не мог, а жалко было мне, когда исчезала радость моя, разбиваясь об этого человека.

Как заметили меня люди, то и я стал их замечать.

Бывало, в праздник выйду на улицу - народ смотрит на меня любопытно, здороваются со мной иные степенно, а иной - со смешком, но все видят.

- Вот, - говорят, - молитвенник наш!

- Гляди, Матвей, святым будешь, пожалуй?

- А вы не смейтесь, ребята, - он не поп, не за деньги в бога верует!

- Али мужиков во святых не было?

- От нас - всякая душа, да нам пользы ни шиша!

- Разве он мужик? Он тайный баринок!..

И лестно говорят и обидно.

Был у меня в то время особый строй души - хотелось мне со всеми тихо жить и чтобы ко мне тоже все ласковы были; старался я достигнуть этого, а насмешки мешали мне.

Особенно донимал меня Мигун: увидит, бывало, встанет на колени, кланяется и причитает:

- Вашей святости - земной поклон! Помолитесь-ко за Савёлку, не будет ли ему от

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
бога толку? Научите, как господу угодить – воровать мне погодить, али – как побольше стащу – поставить пудовую свещу?

Народ хохочет, а мне и странно и досадно слышать Савёлкины издёвки.

А он своё:

– Православные, кланяйтесь праведнику! Он мужика в конторе обсчитает в церкви книгу зачитает, богу и не слышно, как мужик ревет.

Мне тогда лет шестнадцать было, и мог бы я ему рожу разбить за эти насмешки, но вместо этого стал избегать Мигуна, а он это заметил и пуще мне прохода не даёт. Песню сочинил; в праздники ходит по улице и поёт, наигрывая на балалайке:

Баре девок обнимают,

Девки брюхо наживают.

Да от барских от затей

Родят сукиных детей!

Их подкидывают барам,

Да – не кормят баре даром;

И сажают их в конторе

На мужицкое на горе!

Длинная песня была, всем в ней доставалось, а Титову и мне – больше всех. Доводил меня Савёлка до того, что, как увижу я, бывало, его дрянную эту бородёнку, шапку на ухе и лысый лоб, – начинаю весь дрожать; так бы кинулся и поломал его на куски.

Но хоть и мал юноша был я тогда, а сердце умел держать крепко; он идёт за мной, тренькает, а я виду не показываю, что тяжело мне, шагаю не спеша и будто не слышу ничего.

Молиться ещё больше стал – чувствую, что, кроме молитвы, нечем мне оградить себя, но теперь явились в молитвах моих жалобы и горькие слова:

– За что, господи? Виноват ли я, что отец-мать мои отреклись от меня и, подобно котёнку, в кусты бросили младенца?

А другой вины не видел за собой – люди в жизни смешанно стоят, каждый к делу своему привык, привычку возвёл в закон, – где же сразу понять, против кого чужая сила направляет тебя?

Ну, а всё-таки начал я присматриваться, ибо всё более беспокойно и нестерпимо становилось мне.

Барин наш, Константин Николаевич Лосев, богат был и много земель имел; в нашу экономию он редко наезжал: считалась она несчастливой в их семействе, в ней баринову мать кто-то задушил, дед его с коня упал, разбился, и жена сбежала. Дважды видел я барина: человек высокий, полный, в золотых очках, в поддёвке и картузе с красным околышком; говорили, что он важный царю слуга и весьма учёный – книги пишет. Титова однако он два раза матерно изругал и кулак к носу подносил ему.

В Соколей экономии Титов был – вся власть и сила. Имение – невелико, хлеба сеяли сколько требовалось для хозяйства, а остальная земля мужикам в аренду шла; потом было приказано аренду сокращать и сеять лён, – неподалёку фабрика открылась.

Кроме меня, в уголке конторы сидел Иван Макарович Юдин, человек немой души и всегда пьяненький. Телеграфистом он был, да за пьянство прогнали его. Вёл он все книги, писал письма, договоры с мужиками и молчал так много, что даже

удивительно было; говорят ему, а он только головой кивает, хихикает тихонько, иной раз скажет:

- Так.

И тут - весь.

Маленький он был, худой, а лицо круглое, отёчное, глаз почти не видно, голова лысая, а ходил на цыпочках, без шума и неверно, точно слепой.

В день Казанской опоили мужики Юдина вином, а как умер он, - остался я в конторе один для всего: положил мне Титов жалованья сорок рублей в год, а Ольгу заставил помогать.

И раньше видел я, что мужики ходят около конторы, как волки над капканом: им капкан видно - да есть охота, а приманка зовёт, ну, они и попадают.

Когда же остался я один в конторе, раскрылись предо мною все книги, планы, то, конечно, и при малом разуме моём я сразу увидел, что всё в нашей экономике - ясный грабёж, мужики кругом обложены, все в долгу и работают не на себя, а на Титова. Сказать, что удивился я или стыдно стало мне, - не могу. И хоть понял, за что Савёлка лается, но не счёл его правым, - ведь не я грабёж выдумал!

Вижу, что и Титов не чист перед хозяином - набивает он карман себе как можно туго. Держал я себя перед ним и раньше смело, понимая, что нужен ему для чего-то, а теперь подумал: для того и нужен, чтобы перед богом его, вора, прикрывать.

Милым сыном в то время называл он меня и жена его тоже; одевали хорошо, я им, конечно, спасибо говорю, а душа не лежит к ним, и сердцу от ласки их нисколько не тепло. А с Ольгой всё крепче дружился: нравилась мне тихая улыбка её, ласковый голос и любовь к цветам.

Титов с женой ходили перед богом спустя головы, как стреноженные лошади, и будто прятали в покорной робости своей некий грех, тяжелейший воровства. Руки Титова не нравились мне - он всё прятал их и этим наводил на мысли нехорошие - может, его руки человека задушили, может, в крови они?

И всегда - и он и она - просят меня:

- Молись за нас грешных, Мотя!

Однажды я, не стерпев, сказал:

- Али вы сильно грешнее других?

Настасья вздохнула и ушла, а сам отвернулся в сторону, не ответив мне.

Дома он всегда задумчив, говорит с женой и дочерью мало и только о делах. С мужиками никогда не ругался, но был высокомерен - это хуже матерщины выходило у него. Никогда ни в чём не уступал он им: как скажет, так и стоит, словно по пояс в землю ушёл.

- Уступить бы им! - сказал я ему однажды.

Ответил он:

- Никогда ни вершка не уступай людям, иначе - пропадёшь!

Другой раз, - заставлял он меня неверно считать, - я ему говорю:

- Так нельзя!

- Отчего?

- Грех.

- Не ты меня заставляешь грешить, а я тебя. Пиши, как велю, с тебя не спросится,

Исповедь. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

ты – только рука моя! Праведность свою не нарушишь этим, не бойся! А на десять рублей в месяц ни я, ни кто не уловчится правильно жить. Это – пойми!

"Ах ты, – думаю, – дрянцо с пыльцой!"

– Довольно! – говорю. – Всё это надо прекратить. А ежели вы не перестанете баловаться, то я каждый раз буду обличать дела ваши на селе.

Поднял он усы к носу, оскалил зубы и вытаращил круглые глаза свои. Меряем друг друга, кто выше. Тихо спрашивает он:

– Верно?

– Верно!

Засмеялся Титов, словно горсть двугривенных на пол швырнул, и говорит:

– Ладно, праведник! Оно, пожалуй, так и надо мне – надоело уж около рублей копейки ловить. Стало вора́м тесно – зажили честно!

И ушёл, хлопнув дверью, так что даже стёкла в окнах заныли.

Показалось мне, как будто сократился Титов с того дня, ко мне перестал приставать.

Был он большой скопидом, и хотя ни в чём себе не отказывал, но цену копейке знал. В пище сластолюбив и до женщин удивительно жаден, – власть у него большая, отказать ему бабы не смеют, а он и пользуется; девиц не трогал, видимо – боялся, а женщины – наверное, каждая хоть раз, да была наложницей его.

И меня к этому не раз поджигал:

– Чего ты, – говорит, – Матвей, стесняешься? Женщину поять – как милостыню подать! Здесь каждой бабе ласки хочется, а мужья – люди слабые, усталые, что от них возьмёшь? Ты же парень сильный, красивый, – что тебе стоит бабу приласкать? Да и сам удовольствие получишь...

Он ко всякой подлости сбоку заходил, низкий человек.

Однажды спрашивает меня:

– Ты как, Матвей, думаешь – силен праведник у господа?

Не любил я вопросы его.

– Не знаю, – говорю.

Подумал он – и снова:

– Вот, вывел бог Лота из Содомы и Ноя спас, а тысячи погибли от огня и воды. Однако сказано – не убий? Иногда мне мерещится – оттого и погибли тысячи людей, что были между ними праведники. Видел бог, что и при столь строгих законах его удаётся некоторым праведная жизнь. А если бы ни одного праведника не было в Содоме – видел бы господь, что, значит, никому невозможно соблюдать законы его, и, может, смягчил бы законы, не губя множество людей. Говорится про него: многомилостив, – а где же это видно?

Не понимал я в ту пору, что человек этот ищет свободы греха, но раздражали меня слова его.

– Кощунствуете вы! – говорю. – Бойтесь бога, а не любите его!

Выхватил он руки из карманов, бросил их за спину, посерел, видно, что озлобился.

– Так или нет – не знаю! – отвечает. – Только думается мне, что служите вы, богомолы, богу вашему для меры чужих грехов. Не будь вас смешался бы господь в оценке греха!

Долго после того не замечал он меня, а в душе моей начала расти нестерпимая вражда к нему, – хуже Мигуна стал он для меня.

В ночь на молитве помянул я имя его – вспыхнула душа моя гневом и, может быть, в тот час сказал я первую человеческую молитву мою:

– Не хочу, господи, милости твоей для вора: кары прошу ему! Да не обкрадывает он нищие безнаказанно!

И так горячо говорил я против Титова, что даже страшно стало мне за судьбу его.

А вскоре после того столкнулся я с Мигуном – пришёл он в контору лыка просить, а я один был в ней.

Спрашиваю:

– Ты, Савёл, за что издеваешься надо мною?

Он показывает зубы свои, воткнув мне в лицо острые глаза.

– Моё, – говорит, – дело невелико, пришёл просить лыка!

Ноги у меня дрожат и пальцы сами собой в кулак сжимаются; взявши за горло, встряхнул я его немножко.

– В чём я виноват?

Он не испугался, не обиделся, а просто взял мою руку и отвёл её от шеи своей, как будто не я его, а он меня сильнее.

– Когда, – говорит, – человека душат, ему неловко говорить. Ты меня не тронь, я уже всякие побои видал – твои для меня лишни. И драться тебе не надо, этак ты все заповеди опрокинешь.

Говорит он спокойно, шутя, легко. Я кричу ему:

– Что тебе надо?

– Лыка.

Вижу – на словах мне его не одолеть, да и злость моя прошла, только обидно мне пред ним.

– Зверьё, – говорю, – все вы! Разве можно над человеком смеяться за то, что его отец-мать бросили?

А он в меня прибаутками, словно камнями, лукает:

– Не притворяйся нищим, мы правду същем: ты ешь крадён хлеб не потому, что слеп.

– Врёшь, – мол, – я за свой кусок тружусь...

– Без труда и курицу не украдёшь, это известно!

Смотрит на меня с бесовой усмешкой в глазах и говорит жалостливо:

– Эх, Матвей, хорош ты был дитя! А стал книгочей, богоед и, как все земли нашей воры, строишь божий закон на той беде, что не всем руки даны одной длины.

Вытолкал я его вон из конторы. Прибаутки его не хотел я понять, потому что, считая себя верным слугой бога, и мысли свои считал вернейшими мыслей других людей, становилось мне одиноко и тоскливо, чувствую – слабеет душа моя.

Жаловаться на людей – не мог, не допускал себя до этого, то ли от гордости, то ли потому, что хоть и был я глуп человек, а фарисеем – не был. Встану на колени перед знамением Абалацкой богородицы, гляжу на лик её и на ручки, к небесам подъятые, – огонёк в лампаде моей мелькает, тихая тень гладит икону, а на сердце мне эта тень холодом ложится, и встаёт между мною и богом нечто невидимое,

неощутимое, угнетая меня. Потерял я радость молитвы, опечалился и даже с Ольгой неладен стал.

А она смотрит на меня всё ласковее: мне в то время восемнадцать лет минуло, парень видный и кудрявый такой. И хотел я и неловко мне было ближе к ней подойти, я тогда ещё невинен перед женщиной жил; бабы на селе смеялись за это надо мной; иногда мне казалось, что и Ольга нехорошо улыбается. Не раз уже сладко думал про неё:

"Вот – жена мне!"

Сидел я с нею в конторе молча целые дни, спросит она меня что-нибудь по делу, отвечу ей – тут и вся наша беседа.

Тонкая она, белая, глаза синие, задумчивые, но была она красива и легка в тихой и неведомой мне печали своей.

И однажды спросила она:

– Что ты, Матвей, стал угрюмый?

Никогда я про себя ни с кем не говорил и не думал, хотел говорить, а тут вдруг открылось сердце – и всё пред нею, все занозы мои повывергал. Про стыд мой за родителей и насмешки надо мной, про одиночество и обеднение души, и про отца её – всё! Не то, чтобы жаловался я, а просто вывел думы изнутри наружу; много их было накоплено, и все – дрянь. Обидно мне, что дрянь.

– Лучше в монастырь идти! – говорю.

Затуманилась она, опустила голову и ничем не ответила мне. Была мне приятна печаль её, а молчание – опечалило меня. Но дня через три – тихонько говорит она мне:

– Напрасно ты на людей столько внимания обращаешь; каждый живёт сам собой – видишь? Конечно, теперь ты один на земле, а когда заведёшь семью себе, и никого тебе не нужно, будешь жить, как все, за своей стеной. А папашу моего не осуждай; все его не любят, вижу я, но чем он хуже других не знаю! Где любовь видно?

Утешают меня её слова. Я всегда всё сразу делаю – так и тут поступил:

– Ты бы, – говорю, – пошла замуж за меня?

Отвернулась она, шепчет:

– Пошла бы...

Кончено. На другой день я сказал Титову: так и так, мол.

Усмехнулся он, усы расправил и начал душу мне скрести.

– В сыновья ко мне – прямой путь для тебя, Матвей: надо думать, это богом указано, я не спорю! Парень ты серьёзный, скромн и здоров, богомолец за нас, и по всем статьям – клад, без лести скажу! Но, чтобы сытно жить, надо уметь дела делать, а наклон к деловитости слаб у тебя. Это -- одно. Другое – через два года в солдаты тебя позовут, и должен ты идти. Будь у тебя деньжонки накоплены, рублей пятьсот, можно бы откупиться от солдатчины, уж я бы это устроил... А без денег – уйдёшь ты, тогда останется Ольга ни замужней, ни вдовой...

Пилит он мне сердце тупыми словами своими, усы у него дрожат и в глазах зелёный огонёк играет. Встаёт предо мною солдатство, страшно и противно душе – какой я солдат? Уже одно то, что в казарме надо жить всегда с людьми, – не для меня. А пьянство, матерщина, зуботычины? В этой службе всё против человека, знал я. Придавили меня речи Титова.

– Значит, – говорю, – в монахи уйду!..

– Теперь – опоздал! – смеется Титов. – Сразу – не постригут, а послушника – возьмут в солдаты. Нет, Матвей, кроме денег, ничем судьбу не подкупишь!

Тогда я говорю ему:

- Дайте вы денег, ведь у вас много!

- Ага! - говорит. - Это ты просто придумал. Только хорошо ли для меня этак-то? Сообрази: я мои деньги, может быть, большим грехом купил, может, я за них душу чёрту продал. Пока я в грехах пачкался, - ты праведно жил, да и теперь того же хочешь, за счёт моих грехов? Легко праведному в рай попасть, коли грешник его на своём хребте везёт, - только я не согласен конём тебе служить! Уж ты лучше сам погреши, тебе бог простит, - чай, ты вперёд у него заслужил!

Смотрю - вид у Титова такой, словно он вдруг на сажень выше меня вырос, и я где-то у ног его ползу. Понял я, что издевается он надо мной, кончил разговор, а вечером передал Ольге речи её отца. Заблестели слёзы на глазах у девушки, а около уха у неё задрожала какая-то малая синенькая жилка, и трепет этот жалостный откликнулся в сердце у меня. Говорит Ольга, улыбаясь:

- Вот и не выйдет, как мы хотим...

- Нет, - мол, - выйдет!

Сказал, не думая, но как бы слово этим дал и ей и себе, - слово, отступить от которого нельзя.

С того дня нечисто зажил я; началась для меня какая-то тёмная и пьяная полоса, заметался парень, как голубь на пожаре в туче дымной. И Ольгу мне жалко, и хочется её женой иметь, люблю девушку, а главное - вижу, что Титов в чём-то крепче и устойчивей меня, а это несносно для гордости моей. Презирал я воровские дела и всю тёмную душу его, а вдруг открылось, что живёт в этой душе некая сила и - властно смотрит она на меня!

На селе стало известно, что я сватался и отказано мне; девки усмеваются, бабы галдят, Савёлка шутки шутит, и всё это поднимает меня на дыбы, замутило душу до полной тьмы.

Встану я молиться, а Титов словно сзади стоит и в затылок мне дышит, оттого молюсь я несуразно, кощунственно, не о госпoде радуюсь, а думаю о делах своих - как мне быть?

- Помоги, - говорю, - господи, и научи мя, да не потеряю путей твоих и да не угрязнет душа моя во грехе! Силён ты и многомилостив, сохрани же раба твоего ото зла и одари крепостью в борьбе с искушением, да не буду попран хитростью врага и да не усумнюсь в силе любви твоей к рабу твоему!

Так низвёл я госпoда с высоты неизречённых красот его на должность защитника малых делишек моих, а бога унизив, и сам опустился до ничтожества.

Ольга же день ото дня тает в печали, как восковая свеча. Думаю, как она будет жить с другим человеком, и не могу поставить рядом с ней никого, кроме себя.

Силою любви своей человек создаёт подобного себе, и потому думал я, что девушка понимает душу мою, видит мысли мои и нужна мне, как я сам себе. Мать её стала ещё больше унылой, смотрит на меня со слезами, молчит и вздыхает, а Титов прячет скверные руки свои и тоже молча ходит вокруг меня; вьётся, как ворон над собакой издыхающей, чтоб в минуту смерти вырвать ей глаза. С месяц времени прошло, а я всё на том же месте стою, будто дошёл до крутого оврага и не знаю, где перейти. Тяжело было.

Однажды приходит Титов в контору и говорит мне негромко:

- Вот, Матвей, на твоё счастье явился случай - хватай его, коли хочешь человеком быть!

Случай был такой, что мужики должны были много проиграть, экономия кое-что выиграла бы, а Титову могло попасть рублей около двухсот.

Рассказал мне и спрашивает:



- Что, не осмелишься?

Спроси иначе, - может, я и не пошёл бы в руки к нему, а от этих слов взорвало меня.

- Воровать не осмелюсь? - говорю. - Тут смелости не нужно, только подлость одна. Давайте, будем воровать!

Усмехается он, мерзавец, спрашивает:

- А грех?

- А грехи мои - я сам сочту.

- Ну и ладно! - говорит. - Теперь - знай: что ни день, то к свадьбе ближе!

Словно волка на козлёнка, ловил он меня, дурака, в капкан.

И - началось. В делах я был не глуп, а дерзость всегда большую имел. Начали мы с ним грабить народ, словно в шашки играем, - он делает ход, а я - ещё злее. Оба молчим, только поглядываем друг на друга, он - со смешком зелёным в глазах, я - со злостью. Одолеп меня этот человек, но, и проигравши ему всё, даже в поганом деле не мог я ему уступить. Лён принимая, стал обвешивать, штрафы за потраву утаивал, всячески копейки щипал с мужиков, но денег не считал и в руки не брал, - всё Титову шло; конечно, легче мне от этого не было, и мужикам тоже.

Словом сказать, был я в ту пору как бешеный, в груди холодно; бога вспомню - как обожжёт меня. Не однажды всё-таки упрекал его:

- Почто, - мол, - не поддержишь силою твоею падение моё; почто возложил на меня испытание не по разуму мне, али не видишь, господи, погибает душа моя?

Были часы, что и Ольга чужой становилась мне; гляжу на неё и враждебно думаю:

"Тебя ради душой торгую, несчастная!"

А после этих слов станет мне стыдно пред нею, стану я тих и ласков с девушкой, как только могу.

Но - поймите - не от жалости к себе али к людям мучился я и зубами скрипел, а от великой той обиды, что не мог Титова одолеть и предал себя воле его. Вспомню, бывало, слова его о праведниках - оледенею весь. А он, видимо, всё это понимал.

Торжествует. Говорит:

- Ну, святоша, надо тебе о келейке думать, - с нами жить тесно будет для тебя с женою, дети у вас пойдут!

Святошей назвал. Я смолчал.

И всё чаще стал он так называть меня, а дочь его всё милее, всё ласковее со мною - понимала, как трудно мне.

Выклянчил Титов кусок земли, - управляющему Лосева поклонялся, - дали ему хорошее местечко за экономией; начал он строить избу для нас, а я - всё нажимаю, жульничаю. Дело идёт быстро, домик строится, блестит на солнце, как золотая коробочка для Ольги. Вот уже под крышу подвели его, надо печь ставить, к осени и жить в нём можно бы.

Только раз, под вечер, иду я из Якимовки, - скот у мужиков описывал за долги, - вышел из рощи к селу, гляжу - а на солнечном закате горит мой дом, - как свеча горит!

Сначала я подумал, что это солнце шутит -- обняло его красными лучами и поднимает вверх, в небеса к себе, однако вижу - народ суетится, слышу огонь свистит, дерево потрескивает.

Вспыхнуло сердце у меня, вижу бога врагом себе, будь камень в руке у меня - метнул бы его в небо. Гляжу, как воровской мой труд дымом и пеплом по земле идёт, сам весь пылаю вместе с ним и говорю:

- Хочешь ли ты указать мне, что ради праха и золы погубил я душу мою, - этого ли хочешь? Не верю, не хочу унижения твоего, не по твоей воле горит, а мужики это подожгли по злобе на меня и на Титова! Не потому не верю в гнев твой, что я не достоин его, а потому, что гнев такой не достоин тебя! Не хотел ты подать мне помощи твоей в нужный час, бессильному, против греха. Ты виноват, а не я! Я вошёл в грех, как в тёмный лес, до меня он вырос, и - где мне найти свободу от него?

Не то, чтобы утешали меня эти глупые слова... И ничего не оправдывали они, но будили в душе некое злое упрямство.

Догорел мой дом раньше, чем угасло возмущение моё. Я всё стою на опушке роши, прислонясь к дереву, и веду мой спор, а белое Ольгино лицо мелькает предо мной, в слезах, в горе.

Говорю я богу дерзко, как равному:

- Коли ты силён, то и я силён, - так должно быть, по справедливости!

Погас пожар, стало тихо и темно, но во тьме ещё сверкают языки огня, точно ребёнок, устав плакать, тихо всхлипывает. Ночь была облачная, блестела река, как нож кривой, среди поля потерянный, и хотелось мне поднять тот нож, размахнуться им, чтобы свистнуло над землёй.

Около полуночи пришёл я в село - у ворот экономии Ольга с отцом стоят, ждут меня.

- Где же ты был? - говорит Титов.

- На горе стоял, на пожар глядел.

- Чего же не бежал тушить?

- Чудотворец я, что ли, - плюну в огонь, а он и погаснет?..

У Ольги глаза заплаканы, вся она сажей попачкана, в дыму закоптела смешно мне видеть это.

- Работала? - спрашиваю.

Залилась она слезами.

Титов угрюмо говорит:

- Не знаю, что и делать...

- Сначала, - мол, - надо строить!

Во мне тогда такое упорство сложилось, что я своими руками сейчас же готов был брёвна катать и венцы вязать, и до конца бы всю работу сразу мог довести, потому что хоть я волю бога и оспаривал, а надо было мне наверное знать, - он это против меня или нет?

И снова началось воровство. Каких только хитростей не придумывал я! Бывало, прежде-то по ночам я, богу молясь, себя не чувствовал, а теперь лежу и думаю, как бы лишний рубль в карман загнать, весь в это ушёл, и хоть знаю - многие в ту пору плакали от меня, у многих я кусок из горла вырвал, и малые дети, может быть, голодом погибли от жадности моей, - противно и пакостно мне знать это теперь, а и смешно, - уж очень я глуп и жаден был!

Лики святые смотрят на меня уже не печальными и добрыми глазами, как прежде, а - подстерегают, словно Ольгин отец. Однажды я у старосты с конторки полтинник стянул - вот до какой красоты дошёл!

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

И раз выпало мне что-то особенное – подошла ко мне Ольга, положила руки свои лёгкие на плечи мои и говорит:

– Матвей, господь с тобой, люблю я тебя больше всего на свете!

Удивительно просто сказала она эти светлые слова, – так ребёнок не скажет "мама". Обогател я силой, как в сказке, и стала она мне с того часа неоценимо дорога. Первый раз сказала, что любит, первый раз тогда обнял я её и так поцеловал, что весь перестал быть, как это случилось со мной во время горячей молитвы.

К покрову дом наш был готов – пёстрый вышел, некоторые брёвна чёрные, обгорелые. Вскоре и свадьбу справили мы; тесть мой пьян нализался и всё время хохотал, как чёрт в удаче; тёща смотрела на нас, плакала, – молчит, улыбается, а по щекам слёзы текут.

Титов орёт:

– Эй, не плачь! Какой у нас зять, а? Праведник!

И матерно ругается.

Гости были важные, – поп, конечно, становой, двое волостных старшин и ещё разные осетры, а под окнами сельский народ собрался, и в нём Мигун весёлый человек. Балалайка его тренькает.

Я у окна сидел, тонкий голос Савёлкин доходит до меня, хоть и боится он громко шутить, а, слышу я, распевает:

Напились бы вы скорее да полопались!

А наелись бы вы досталь да и треснули!

Насмешки его понравились мне тогда, хоть не до него было, – жмётся ко мне Ольга и шепчет:

– Кончилось бы скорее всё это, еда и питьё!

Тошно было ей глядеть на жадность людскую, да и мне противно.

Как познали мы с нею друг друга, то оба заплакали, сидим на постели обнявшись, и плачем, и смеёмся от великой и не чайной нами радости супружества. До утра не спали, целовались всё и разговаривали, как будем жить; чтобы видеть друг друга – свечу зажгли.

Говорила она мне, обнимая тёплыми руками:

– Будем жить так, чтобы все любили нас! Хорошо с тобой, Матвей!

Оба мы были как пьяные от неизречённого счастья нашего, и сказал я ей:

– Пусть меня поразит господь, если ты, Ольга, когда-нибудь по вине моей другими слезами заплачешь!

А она:

– Я, – говорит, – от тебя всё приму, буду тебе мать и сестра, одинокий ты мой!

Зажили мы с ней, как в сладком бреду. Дело я делаю спустя рукава, ничего не вижу и видеть не хочу, тороплюсь всегда домой, к жене; по полю гуляем с нею, ходим в лес.

Вспомнил старину – птиц завёл, дом у нас светлый, весёлый, всюду на стенах клетки висят, птицы поют. Жена, тихая, полюбила их; приду, бывало, домой, она рассказывает, что синица делала, как щур пел.

По вечерам я миную или пролог читал, а больше про детство своё рассказывал, про Лариона и Савёлку, как они богу песни пели, что говорили о нём, про безумного

Власия, который в ту пору скончался уже, про всё говорил, что знал, – оказалось, знал я много о людях, о птицах и о рыбах.

Всей силы счастья моего словами не вычерпать, да и не умеет человек рассказать о радостях своих, не приучен тому, – редки радости его, коротки во времени.

Ходим в церковь с женой, встанем рядом в уголок и дружно молимся. Молитвы мои благодарные обращал я богу с похвалой ему, но и с гордостью такое было чувство у меня, словно одолел я силу божию, против воли его заставил бога наделить меня счастьем; уступил он мне, а я его и похваляю: хорошо, мол, ты, господи, сделал, справедливо, как и следовало!

Эх, язычество нищенское!

Зиму прожил я незаметно, как один светлый день; объявила мне Ольга, что беременна она, – новая радость у нас. Тесть мой угрюмо крикает, теща смотрит на жену мою жалостливо и всё что-то нашёптывает ей. Затеваю я своё дело начать, думал пчельник устроить, назвать его, для счастья, Ларионовым, разбить огород и заняться птицеводством – всё это дела для людей безобидные.

Как-то раз Титов говорит мне сурово таково:

– Ты, Матвей, больно рано обсахарился, гляди – скоро прокиснешь! Летом ребёнок родится у тебя – али забыл?

Мне давно хотелось правду сказать ему, как я в то время понимал её, и вот говорю:

– Сколько надо было мне греха сделать – сделал я, поравнялся с вами, чего вам хотелось, – ну, а ниже вас не буду стоять!

– Не понимаю, – говорит, – что ты хочешь мне доказать! Я тебе говорю просто: семьдесят два рубля в год для семейного не деньги, а дочернино приданое я тебе не позволю проедать! Думай! Мудрость же твоя – просто злость против меня, что я тебя умнее, и пользы в ней – ни тебе, ни мне. Всякий свят, пока черти спят!

Трудно было, а, жалеючи Ольгу, сдержался я, не избил его.

На селе известно стало, что я с тестем не в ладу живу, стал народ поласковее глядеть на меня. Сам же я от радостей моих мягче стал, да и Ольга добра сердцем была – захотелось мне расплатиться с мужиками по возможности. Начал я маленько мирволить им: тому поможешь, этого прикроешь. А в деревне – как за стеклом, каждый твой взмах руки виден всем. Злитесь Титов:

– Опять, – говорит, – хочешь бога подкупить?

Решил я бросить контору, говорю жене:

– Шесть рублей в месяц – и больше – я на птицах возьму!

Опечалилась подруга моя.

– Делай, как знаешь, только не остаётся бы нищими! Жалко, – говорит, папашу: хочет он тебе добра и много принял греха на душу ради нас...

"Эх, думаю, милая! Село мне его добро под девятое ребро!"

И на другой день сказал тестю, что уйду. Усмехнулся он, спрашивает:

– В солдаты?

Ожёт! Понимаю я, что напакостить мне – легко для него: знакомства он имеет большие, везде ему почёт, и попаду я в солдаты, как в воду камень. Дочери своей он не пожалеет, – у него тоже большая игра с богом была.

И – петля за петлей на руки мне! Жена тайно плакать начала, глаза у неё всегда красные. Спросишь её:

- Ты что, Оля?

А она говорит:

- Нездоровится.

Помню клятву мою перед ней, неловко, стыдно мне. Один бы шаг ступить, - и решимость есть, - жалко женщину любимую! Не будь её, пошёл бы я в солдаты, только бы Титова избежать.

В конце июня мальчик у нас родился, и снова одурел я на время. Роды были трудные, Ольга кричит, а у меня со страху сердце рвётся. Титов потемнел весь, дрожит, прислонился на дворе у крыльца, руки спрятал, голову опустил и бормочет:

- Умрёт - вся моя жизнь ни к чему, господи, помилуй!.. Будут дети у тебя, Матвей, может, поймёшь ты горе моё и жизнь мою, перестанешь выдумывать себя на грех людям...

Пожалел я его в те часы. Сам хожу по двору - думаю:

"Снова угрожаешь ты мне, господи, опять надо мною рука твоя! Дал бы человеку оправиться, помог бы ему отойти в сторону! Али скуп стал милостью и не в доброте сила твоя?"

Вспоминая теперь эти речи, стыжусь за глупость мою.

Родился ребёнок, переменилась жена моя: и голос у неё крепче стал, и тело всё будто бы выпрямилось, а ко мне она, вижу - как-то боком стоит. Не то, чтобы жадна стала, а начала куски усчитывать; уж и милостыню реже подаёт, вспоминает, кто из мужиков сколько должен нам. Долги - пятаки, а ей интересно. Сначала я думал - пройдёт это; я тогда уже бойко птицей торговал, раза два в месяц ездил в город с клетками; бывало, рублей пять и больше за поездку возьмёшь. Корова была у нас, с десятков кур - чего бы ещё надо?

А у Ольги глаза блестят неприятно. Привезу ей подарок из города жалуется:

- Зачем это? Ты бы деньги-то берёг.

Скучно стало мне, и от этой скуки пристрастился я к птичьей охоте. Уйду в лес, поставлю сеть, повешу чапки, лягу на землю, посвистываю, думаю. В душе - тихо, ничего тебе не надобно. Родится мысль, заденет сердце и падёт в неизвестное, точно камешек в озеро, пойдут круги в душе - волнение о боге.

В эти часы бог для меня - небо ясное, синие дали, вышитый золотом осенний лес или зимний - храм серебряный; реки, поля и холмы, звёзды и цветы - всё красивое божественно есть, всё божественное родственно душе. А вспомнишь о людях, вострепнётся сердце, как птица, во сне испуганная, и недоумённо смотришь в жизнь - не сливается воедино красота божия с тёмной, нищей жизнью человеческой. Светлый бог где-то далеко в силе и гордости своей, люди - тоже отдельно в нудной и прискорбной жизни. Почто преданы дети божии в жертву суете, и голодны, и унижены, и придавлены к земле, как черви в грязи, - зачем это допущено богом? Какая радость ему видеть унижение творений своих? Где есть люди, кои бога видят и чувствуют красоту его? Слеплена душа в человеке чёрной нуждой дневной. Сытость числится радостью и богатством - счастьем, ищут люди свободы греха, а свободы от греха не имеют. И где в них сила отчей любви, где божья красота? жив бог? Где же - божеское?

Вдруг взметнётся дымом некая догадка или намёк, всё собою покроет, всё опустошит, и в душе, как в поле зимой, пусто, холодно. Тогда я не смел дотронуться словами до этой мысли, но, хотя она и не вставала предо мной одетая в слова, - силу её чувствовал я и боялся, как малый ребёнок темноты. Вскочу на ноги, затороплюсь домой, соберу снасти свои и пойду быстро да песни пою, чтобы оттолкнуть себя в сторону от немощного страха своего.

Стали люди смеяться надо мной, - птицеловов не уважают в деревнях, да и Ольга тяжело вздыхает, видимо, и ей зазорным кажется занятие моё. Тесть мне притчи читает, я помалкиваю, жду осени; кажется мне, что минует меня солдатчина, - эту

яму я обойду.

Жена снова забеременела и с тем вместе начала грустить.

- Что ты, Ольга?

Сначала отнекивалась - ничего, дескать, но однажды обняла меня, заплакала.

- Умру я, - говорит, - родами умру!

Знал я, что женщины часто так говорят, но испугался. Утешаю - не слушает.

- Снова ты останешься один, - говорит, - не любимый никем. Неуживчивый ты, дерзкий во всём - прошу я тебя, ради детей: не гордись, все богу виноваты, и ты - не прав...

Часто стала она говорить мне подобные речи, и смутился я от жалости к ней, страха за неё. С тестем у меня что-то вроде мира вышло, он сейчас же воспользовался этим по-своему: тут, Матвей, подпиши, там - не пиши. Предлоги важные - солдатство на носу, второй ребёнок близко.

А уже рекрута гулять начали, меня зовут; отказался - стёкла побили.

Настал день, поехал я в город жребий вынимать, жена уже боялась выходить из дома. Тесть меня провожал и всю дорогу рассказывал, какие он труды понёс ради меня и сколько денег истратил и как хорошо всё устроено у него.

- Может, напрасно вы старались, - говорю.

Так и вышло; жребий мой оказался из последних. Титов даже не поверил счастью моему, а потом сумрачно засмеялся:

- Видно, и вправду бог-то за тебя!

Я - молчу, а несказанно рад; для меня это свобода от всего, что тяготило душу, а главное - от дорогого тестя. Дома - радость Ольгина; плачет и смеётся, милая, хвалит меня и ласкает, словно я медведя убил.

- Слава тебе, господи, - говорит, - теперь я спокойно помру!

Посмеиваюсь я над нею, а самому - жутко, ибо чувствую - верит она в смерть свою, понимаю, что вера эта пагубна, уничтожает она силу жизненную в человеке.

Дня через три начались у неё роды. Двое суток мучилась она страшными муками, а на третий скончалась, разрешившись мёртвеньким; скончалась, как уверила себя, милый мой друг!

Похорон её не помню, ибо некоторое время и слеп и глух был.

Разбудил меня Титов, - было это на могиле Ольгиной. Как теперь вижу стоит он предо мной, смотрит в лицо мне и говорит:

- Вот, Матвей, второй раз сходимся мы с тобой около мёртвых; здесь родилась наша дружба, здесь и снова окрепнуть бы ей...

Оглядываюсь, как будто я впервые на землю попал: дождь накрапывает, туман вокруг, качаются в нём голые деревья, плывут и прячутся намогильные кресты, всё ограблено холодом, одето тяжкой сыростью, дышать нечем, будто дождь и туман весь воздух пожрали.

Я говорю Титову:

- Что тебе надо?

- Надо мне, чтобы понял ты горе моё. Может быть, и за тебя, за то, что помешал я тебе жить по воле твоей, наказал меня господь смертью дочери...

Таёт земля под ногами, обращаясь в липкую грязь, и, чмокая, присасывает ноги

мои.

Сгрёб я его, бросил на землю, словно куль отрубей, кричу:

- Будь ты проклят, окаянный!

И началось для меня время безумное и бессмысленное, - не могу головы своей вверх поднять, тоже как бы брошен на землю гневной рукой и без сил распростёрся на земле. Болит душа обидой на бога, взгляну на образа и отойду прочь скорее: спорить я хочу, а не каяться. Знаю, что по закону должен смиренно покаяние принести, должен сказать:

"Так, господи! Тяжела рука твоя, а справедлива, и гнев твой велик, но благостен!"

А по совести моей - не могу сказать этих слов, стою потерянный между разными мыслями и не нахожу себя.

Подумаю:

"Не за то ли мне этот удар, что я тайно сомневался в бытии твоём?"

Пугает меня это, оправдываюсь:

"Ведь не в бытии, а только в милосердии твоём сомневался я, ибо кажется мне, что все люди брошены тобою без помощи и без пути!"

И всё это - не то, что тлеет в душе моей, тлеет и нестерпимо жжёт её. Спать не могу, ничего не делаю, по ночам тени какие-то душат меня, Ольгу вижу, жутко мне, и нет сил жить.

Решил удавиться.

Было это ночью, лежал я на постели одетый и маялся; в памяти жена стоит, ни в чём не повинная; синие глаза её тихими огнями теплятся, зовут. В окна месяц смотрит, на полу светлые тропы лежат - на душе ещё темнее от них. Вскочил, взял верёвку от птичьей сети, вбил гвоздь в матицу, петлю сделал и стул подставил. Захотелось мне пиджак снять, снял, ворот у рубахи порвал и вдруг вижу, на стене тайно мелькнуло чьё-то маленькое неясное лицо. Едва не закричал со страха, но понял, что это моё лицо в круглом Ольгином зеркале. Смотрю - вид безумный и жалостный, волосы встрёпаны, щёки провалились, нос острый, рот полуоткрыт, точно задыхается человек, а глаза смотрят оттуда замученно, с великой горечью.

Жалко стало мне человеческого лица, былой его красоты, сел я на лавку и заплакал над собою, как ребёнок обиженный, а после слёз петля явилась стыдным делом, насмешкой надо мной. Обозлился я, сорвал её и швырнул угол. Смерть - тоже загадка, а я - разрешение жизни искал.

Что же мне делать? Прошли ещё какие-то дни, показалось мне, что мира я хочу и надо понудить себя к подаянию, стиснул зубы, к попу пошёл.

В воскресенье, под вечер, явился я к нему. Сидит он с попадью за столом, чай пьют, четверо ребят с ними, на чёрном лице попа блестит пот, как рыба чешуя. Встретил меня благодушно.

В комнате тепло и светло, всё в ней чисто, аккуратно; попомнил я, с каким небрежением поп во храме служит, думаю:

"Вот где его храм!"

Нет нужного смирения во мне.

- Что, Матвей, тоскуешь? - спрашивает поп.

- Да, - мол, - тоскую...

- Ага!.. Сорокоуст заказать надо. Во сне не является ли?

- Является, - мол.

- Непременно - сорокоуст!

Молчу. Не могу я при попадье говорить, не любил я её очень; широкая она такая была, лицо большое, жирное, дышит женщина тяжело и зыблется вся, как болото. Деньги в рост давала.

- Молись усердно! - поучает поп. - И не грусти - это будет против господя, он знает, что делает...

Спрашиваю я:

- Знает ли?

- А как же? Эй, - говорит, - парень, известно мне, что ты к людям горд, но - не дерзай перенести гордость твою и на господень закон, - сто крат тяжелее поражён будешь! Уж не Ларионова ли закваска бродит в тебе? Покойник, по пьяному делу, в еретичество впадал, помни сие!

Попадья вмешалась:

- Его бы, Лариона-то, в монастырь надо сослать, да вот отец больно уж добр, не жаловался на него.

- Неправда это, - говорю, - жаловался, но - не за мнения его, а за небрежение по службе, в чём батюшка и сам виноват.

Начался у нас спор. Сначала поп в дерзости меня упрекал, говорил слова, известные мне не хуже его, да ещё и перевирал их, в досаде на меня, а потом и он и попадья просто ругаться стали:

- И ты, - говорят, - и твой тесть - оба грабители, церковь обокрали: Мокрый дол - издавна церковный покос, а вы его оттягали у нас, вот и пристукнул вас господь...

- Это верно, - говорю, - Мокрый дол неправильно отнят у вас, а вами у мужиков!

Встал, хочу уходить.

- Стой! - кричит поп. - А деньги за сорокоуст?

- Не надо, - мол.

И ушёл, думая:

"Не туда ты, Матвей, душу принёс!"

Дня через три помер ребёнок мой, Саша; принял мышьяк за сахар, полизал его и скончался. Это даже и не удивило меня, охладел я как-то ко всему, отупел.

Надумал идти в город. Был там протопоп, благочестивой жизни и весьма учёный, - с раскольниками ревностно состязался о делах веры и славу прозорливца имел. Объявил тестю, что ухожу, дом и всё, принадлежащее мне, оставляю ему, а он пусть даст мне за всё сто рублей.

- Так, - говорит, - нельзя! Напиши мне вексель на полгода в триста рублей.

Написал, выправил паспорт, ушёл. Нарочно пешком иду, не уляжется ли дорогой-то смятение души. Но хотя каяться иду, а о боге не думаю - не то боюсь, не то обидно мне - искривились все мысли мои, расплзаются, как гнилая дерюга, темны и неясны небеса для меня.

Дошёл до протопопа с большим трудом, не пускают. Какой-то служащий принимал посетителей, молодой и щупленький красавчик, раза четыре он меня отводил:

- Я, - говорит, - секретарь, мне надо три рубля дать.



- Я, - мол, - тебе трёх копеек не дам.

- А я тебя не пушу!

- Сам пройду!

Увидел он, что не уступлю.

- Идём, - говорит, - это я шучу, уж очень ты смешной.

И привёл меня в маленькую комнатку, сидит там на диване в углу седой старичок в зелёной рясе, кашляет, лицо измождённое, глаза строгие и посажены глубоко под лоб.

"Ну, - думаю, - этот мне что-нибудь скажет!"

- С чем пришёл? - спрашивает он.

- Смутился, - мол, - душой я, батюшка.

А секретарь этот, стоя сзади меня, шепчет:

- Говори: ваше преподобие!

- Велите, - говорю, - уйти служащему, мне при нём стеснительно...

Взглянул на меня протопоп, пожевал губами, приказывает:

- Выдь за дверь, Алексей! Ну, говори, что сделал?

- Сомневаюсь, - мол, - в милосердии господнем.

Он руку ко лбу приложил, поглядел на меня и нараспев шепчет:

- Что? Что-о такое, а? Ах ты, дубина!

Обижаться мне не время было, да и не обидна привычка властей наших ругать людей, они ведь не так со зла, как по глупости.

Говорю ему:

- Послушайте меня, ваше преподобие!

Да и присел было на стул - но замахал старичок руками, кричит:

- Встань! Встань! На колени должен пасть предо мной, окаянный!

- Зачем же, - говорю, - на колени-то? Ежели я виноват, то не перед вами, а перед богом!

Он - пуще сердится:

- А я кто? Кто я тебе? Кто я богу?

Из-за пустяка мне с ним стыдно спорить. Опустился на колени - на вот! А он, пальцем мне грозя, шипит:

- Я тебя научу священство уважать!

Пропадает у меня охота беседовать с ним, и покамест совсем не пропала - начал я говорить; начал, да скоро и забыл про него - первый раз вслух-то говорю мысли мои, удивляюсь словам своим и весь - как в огне.

Вдруг слышу - кричит старичок:

- Молчи, несчастный!

Я - как об стену с разбега ударился. Стоит он надо мной и шепчет, потрясая

руками:

- Понимаешь ли ты, безумное животное, слова твои? Чувствуешь ли велие окаянство твоё, безобразный? Лжёшь, еретик, не на покаяние пришёл ты, а ради искушения моего послан дьяволом!

Вижу я – не гнев, а страх на лице у него. Трясётся борода, и руки, простёртые ко мне, мелко дрожат.

Я тоже испугался.

- Что вы, – говорю, – ваше преподобие, я в бога верую!

- Лжёшь, собака заблудшая!

И начал он мне угрожать гневом Божиим и мезтью его, – начал говорить тихим голосом; говорит и весь вздрагивает, ряса словно ручьями течёт с него и дымом зелёным вьётся. Встаёт господь предо мною грозен и суров, ликом тёмным, сердцем – гневен, милосердием скуп и жестокостью подобен иегове, богу древнему.

Я и говорю протопопу:

- Сами вы в ересь впадаете, – разве это христианский бог? Куда же вы Христа прячете? На что вместо друга и помощника людям только судию над ними ставите?..

Тут он меня за волосы ухватил, дёргает и шепчет, всхлипывая:

- Проклятый, ты кто такой, кто? Тебя надо в полицию представить, в острог, в монастырь, в Сибирь...

Тогда я опомнился. Ясно, что коли человек полицию зовёт бога своего поддержать, стало быть, ни сам он, ни бог его никакой силы не имеют, а тем паче – красоты.

Поднимаюсь с колен и говорю:

- Пустите-ка меня...

Отшатнулся старик, задыхается:

- Что хочешь делать?

- Уходить хочу! Научиться, – мол, – мне у вас нечему, речи ваши мертвы, да и бога ими умерщвляют вы!

Он снова начал говорить о полиции, ну, мне это всё равно: полиция больше того не отнимет, сколько он хотел.

- Славе Божией, – говорю ему, – служат ангелы, а не полиция, но ежели вы иначе веруете – поступайте по вере вашей.

Наскакивает он на меня, зелёный.

- Алексей, – кричит, – гони его вон!

Алексей этот с большим усердием вытолкнул меня на улицу.

Вечер был, часа два беседовал я с протопопом. Сумрачно на улице, скверно. Народ везде гуляет, говор и смех – о ту пору праздники были, святки. Иду расслабленно, гляжу на всех, обидно мне и хочется кричать:

"Эй, народ! Чему радуешься? Бога у тебя искажают, гляди!"

Иду – как пьяный, тоска мне, куда идти – не знаю. К себе, на постоялый, – не хочется: шум там и пьянство. Пришёл куда-то на окраину города, стоят домики маленькие, жёлтыми окнами в поле глядят; ветер снегом поигрывает, замечает их, посвистывает. Пить мне хочется, напиться бы пьяному, только – без людей. Чужой я всем и перед всеми виноват.

"А что, - думаю, - пойду вдоль по полю, куда приду?"

Вдруг из ворот женщина выскочила, в одном платье, едва шалью покрыта; взглянула в лицо мне, спрашивает:

- Как зовут?

Понял, что гадает она, говорю:

- Не скажу, потому - несчастлив человек.

Она смеётся.

- На праздниках-то? Мне веселье не в пору.

- А что, - спрашиваю, - есть здесь трактир какой-нибудь, посидел бы я там, а то - холодно!

Смотрит она на меня пристально и говорит ласково так:

- Вон там трактир, а хочешь - иди ко мне, чаем напою!

Не подумал и - без воли - пошёл за нею. Вот я в комнате; на стене лампа горит, в углу, под образами, толстая старуха сидит, жуёт что-то, на столе - самовар. Уютно, тепло. Усадила меня эта женщина за стол; молодая, румяная она, грудь высокая. Старуха из угла смотрит на меня и сопит. Лицо у неё большое, дряблое и словно без глаз. Неловко мне - зачем пришёл? Кто такие?

Спрашиваю молодку:

- Чем занимаетесь?

- Кружева плетём

Верно: с полки гроздьями коклюшки висят. А она вдруг задорно улыбнулась и говорит прямо в глаза мне:

- А ещё - гуляю я!

Старуха засмеялась жирновато:

- Экая ты, Танька, бесстыдница!

Не скажи старуха этого - я бы не понял Татьянинных слов, а понял сконфузился. Первый раз в жизни гулящую девицу столь близко вижу, а конечно, скверно думаю про них.

Татьяна смеётся.

- Гляди-ка, Петровна, покраснел он!

А меня уже и зло берёт: вот так попал! Прямо с покаяния да в окаянное! Говорю девушке:

- Разве таким делом хвастаются?

Она дерзко отвечает:

- Я вот - хвастаюсь!

Старуха опять сопит:

- Эх ты, Татьяна, Татьяна!

А я - не знаю, что сказать и как уйти от них, - на ум не идёт! Сажу молчу. Ветер в окна постукивает, самовар пищит, а Татьяна уж и дразнит меня:

- Ой, жарко мне!

И кофту свою у ворота расстегнула. Лицо у неё хорошее, и хоть глаза дерзкие – привлекают они меня. Подала старуха вина на стол, простого бутылку да наливки.

"Вот, думаю, выпью я рюмку, денег дам и – уйду!"

Татьяна бойко спрашивает:

– О чём тоскуешь?

Не успел я удержаться и ответил:

– Жена померла.

Тогда, уже тихонько, спросила она:

– Давно ли?

– Пять недель только.

Застегнула девица кофточку свою и вся как-то подобралась. Очень это понравилось мне; взглянул в лицо ей молча, а про себя говорю: спасибо! Как ни тяжело было мне, а ведь молод я, и уже привычка к женщине есть, – два года в супружестве жил. Старуха, задыхаясь, говорит:

– Жена умерла – ничего! Ты молодой, а от нашей сестры все улицы пестры.

Тогда Татьяна строго приказала ей:

– Иди-ка ты, Петровна, ложись да и спи! Я сама провожу гостя и ворота запру. – А когда старуха ушла, спрашивает меня серьёзно и ласково:

– Родные есть у вас?

– Никого нет.

– А товарищи?

– И товарищей нет.

– Что же вы хотите делать?

– А не знаю.

Подумала, встала.

– Вот что, – говорит, – видно, что вы очень расстроены душой, и одному вам идти не советую. Вы на первое слово ко мне зашли, этак-то можно туда попасть, что не выдерешься: здесь ведь город! Ночуйте-ка у меня, вот постель, ложитесь с богом! Коли даром неловко вам, заплатите Петровне, сколько не жаль. А коли я вам тяжела, скажите не стесняясь – я уйду...

Понравилась мне и речь её и глаза, и не сдержал я некоей странной радости, усмехнулся, да и говорю:

– Эх, протопоп!

Удивилась Татьяна:

– Какой протопоп?

Совсем беда мне – опять сконфузился.

– Это, – мол, – поговорка у меня такая... То есть – не поговорка, а во сне иногда протопопа я вижу...

– Ну, – говорит, – прощайте!

- Нет уж, - мол, - пожалуйста, не уходите вы, посидите, если вам не трудно, со мной!

Села, улыбается.

- Очень рада; какой же труд?

Просит меня выпить наливки или чаю, спрашивает, не хочу ли есть. У меня после её серьёзной ласки слёзы на глазах, радо моё сердце, как ранняя птица весеннему солнцу.

- За прямое слово - простите, - говорю, - но хочется мне знать: правду ль вы сказали про себя, или так подразнить хотелось вам меня?

Нахмурила она брови, отвечает:

- Верно. Я - из таких. А что?

- Первый раз в жизни вижу такую девицу - совестно мне.

- Чего же вам совеститься? Я ведь не голая сижу!

И тихонько, ласково смеётся.

- Мне, - мол, - не за вас совестно, за себя, за глупость мою!

Рассказал ей без утайки мои мысли насчёт гулящих девиц.

Слушает она внимательно, спокойно.

- Между нами, - говорит, - разные есть, найдутся и хуже ваших слов. Уж очень вы легко людям верите!

Странно мне помириться с тем, что такая девица - продажная. Снова спрашиваю её:

- Что же вы это - по нужде?

- Сначала, - говорит, - один красавец обманул, я же назло ему другого завела, да так и заигралась... А теперь, иногда, и из-за хлеба приходится мужчине принять.

Говорит просто, и жалости к себе не слышно в её словах.

- А в церковь ходите?

Тут она вздрогнула, зарделась вся.

- В церковь, - говорит, - дорога никому не заказана.

Понимаю, что задел я её, и скорей говорю:

- Вы не так меня поняли! Я евангелие знаю и Марию Магдалину помню и грешницу, которой фарисеи искушали Христа. Я спросить вас хотел, не имеете ли вы обиды на бога за жизнь свою, нет ли сомнения в доброте его?

Она наморщила бровки, подумала и удивлённо спрашивает:

- Не вижу я, при чём тут бог?

- Как же, - мол, - он наш пастырь и отец, в его властной руке судьба человеческая!

А она говорит:

- Да ведь я людям зла не делаю, в чём же я виновата? А от того, что я себя нечисто держу, - кому горе? Только мне!

Чувствую - говорит она что-то добротное, сердечное, понять не могу.

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- За свои грехи - я ответчица! - говорит она, наклонясь ко мне, и вся улыбается.  
- Да не кажется мне велик грех-то мой... Может, это и нехорошо говорю я, а - правду! В церковь я люблю ходить; она у нас недавно построена, светлая такая, очень милая! Певчие замечательно поют. Иногда так тронут сердце, что даже заплачешь. В церкви отдыхаешь душой от всякой суеты...

Помолчала и добавила:

- Конечно, и другой интерес есть - мужчины видят.

Удивляет она до того, что у меня даже пот на висках выступил, не понимаю я, как это у неё всё плотно и дружно складывается.

- Вы, - спрашивает она, - очень любили жену?

- Очень, - говорю. И всё больше нравится мне её хорошая простота.

И начал я рассказывать ей о своём душевном деле - про обиду мою на бога, за то, что допустил он меня до греха и несправедливо наказал потом смертью Ольги. То бледнеет она и хмурится, то вдруг загорятся щёки её румянцем и глаза огнём, возбуждает это меня.

Первый раз в жизни обернул я мысль свою о весь круг жизни человеческой, как видел её, - встала она предо мной нескладная и разрушенная, постыдная, грязью забрызганная, в злобе и немощи своей, в криках, столах и жалобах.

- Где здесь божеское? - говорю. - Люди друг на друге сидят, друг у друга кровь сосут, всюду зверская свалка за кусок - где тут божеское? Где доброе и любовь, сила и красота? Пусть молод я, но я не слеп родился, - где Христос, дитя божие? Кто пограл цветы, посеянные чистым сердцем его, кем украдена мудрость его любви?

И рассказал ей о протопопе, как он меня чёрным богом пугал, как в помощь богу своему хотел полицию кричать. Засмеялась Татьяна, да и мне смешон стал протопоп, подобный сверчку зелёному, - трещит сверчок да прыгает, будто дело двигает, а кажись, и сам не крепко верит в правду дела своего!

А посмеявшись, затуманилась хорошая девица.

- Всего я не поняла, - говорит, - а иное даже страшно слушать: о боге дерзко вы думаете!

Я говорю:

- Не видя бога - жить нельзя!

- Да, - говорит, - да ведь вы с ним точно на кулачки драться собрались, разве это можно? А что жизнь тяжела людям - верно! Я тоже иногда думаю - почему? Знаете, что я скажу вам? Здесь недалеко монастырь женский, и в нём отшельница, очень мудрая старушка! Хорошо она о боге говорит сходили бы вы к ней!

- Что ж, я пойду! Я теперь везде пойду, по всем праведникам, нужно мне успокоиться!

- А я теперь спать, да и вы ложитесь, - говорит она, протянув руку мне.

Схватил я её, трясую и от души высказываю:

- Спасибо вам! Сколько вы мне дали, не знаю я, и как это дорого - не ценю в сей час, но чувствую - хорош вы человек, спасибо вам!

- Что вы, - говорит, - бог с вами!

Смутилась, покраснела.

- Я так рада, если легче вам!

И вижу я, что, действительно, рада она. Что я ей? А она - рада тому, что человека успокоила немного.

Погасил я свет, лёг и думаю:

"Вот, на праздник нечаянно попал!"

Потому что хоть и нелегко на сердце, а всё-таки есть в нём что-то новое, хорошее. Вижу Татьянины глаза: то задорные, то серьёзные, человеческого в них больше, чем женского; думаю о ней с чистой радостью, а ведь так подумать о человеке – разве не праздник?

Решил, что завтра подарю ей кольцо с голубым камнем. А потом – забыл, не купил... Тринадцать лет прошло с той поры, а вот вспомню эту девушку – и всегда жаль, что не купил ей кольца.

Утром стучит она в дверь.

– Вставать пора!

Встретились с нею, как старые друзья, сели пить чай, а она всё уговаривает, чтобы я к отшельнице сходил, слово взяла с меня. Душевно распрощались, проводила она меня за ворота.

В городе я, как в степи, – один. До монастыря тридцать три версты было, я сейчас же махнул туда, а на другой день уже за службой стоял.

Вокруг монахини чёрной толпой – словно гора рассыпалась и обломками во храме легла. Монастырь богатый, сестёр много, и всё грузные такие, лица толстые, мягкие, белые, как из теста слеплены. Поп служит истово, а сокращённо, и тоже хорошо кормлен, крупный, басистый. Клирошанки на подбор – красавицы, поют дивно. Свечи плачут белыми слезами, дрожат их огни, жалеючи людей.

"Дух мой ко храму, ко храму святому твоему..." – покорно возглашают молодые голоса.

А я по привычке повторяю про себя слова богослужения, оглядываюсь, хочу понять, которая здесь отшельница, и нет во мне благоговения. Понял это – смутился... Ведь не играть пришёл, а в душе – пусто. И никак не могу собрать себя, всё во мне разрознено, мысли одна через другую скачут. Вижу несколько измождённых лиц – древние, полумёртвые старухи, смотрят на иконы, шевелят губами, а шёпота не слышно.

Отстоял службу, хожу вокруг церкви. День ясный, по снегу солнце искрами рассыпалось, на деревьях синицы тенькают, иней с веток отряхая. Подошёл к ограде и гляжу в глубокие дали земные; на горе стоит монастырь, и пред ним размахнулась, раскинулась мать-земля, богато одетая в голубое серебро снегов. Деревеньки пригорюнились; лес, рекою прорезанный; дороги лежат, как ленты потерянные, и надо всем – солнце сеет зимние косые лучи. Тишина, покой, красота...

А через некоторое время был я в келейке матери Февронии. Вижу: маленькая старушка, глаза без бровей, на лице во всех его морщинах добрая улыбка бессменно дрожит. Речь она ведёт тихо, почти шёпотом и певуче.

– Не ешь, – говорит, – молодец, яблочко до спасова дня, погоди, когда господь миленький его вырастит, когда зёрнышки почернеют в нём!

Думаю – к чему это она?

– Чти, – говорит, – отца и мать твою...

– Нет, – мол, – их у меня!

– Молись за упокой их душенек...

– А может, они живы?

Смотрит она на меня и жалостно улыбается. Потом опять качает головою и поёт:

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Господь-от наш добренький, до всех справедлив, всех оделяет щедротой своей!

- А я, - мол, - усомнился в этом...

Смотрю - испугалась она, руки опустила и молчит, часто мигая глазами. Собралась с духом - снова тихонько запела:

- Помни, что молитва крылата и быстрее всех птиц, и всегда она достигнет до престола господня! На коне в царство небесное никто не въезжал...

Понимаю, что бог для неё барином стоит - добренький да миленький, а закона у старушки нет для него. И всё она сбивается на притчи, а я не понимаю их, досадно мне это.

Поклонился ей и ушёл.

"Вот, - думаю, - разобрали люди бога по частям, каждый по нужде своей, - у одного - добренький, у другого - страшный, попы его в работники наняли себе и кадильным дымом платят ему за то, что он сытно кормит их. Только Ларион необъятного бога имел".

Монашенки снег на санях возят, проехали мимо, хихикают, а мне тяжело и не знаю, что делать. Вышел за ворота - тишина. Снега блестят, инеем одетые деревья не шелохнутся, всё задумалось. И небо и земля смотрят ласково на тихий монастырь. Мне же боязно, что вот я нарушу эту тишину некоторым криком.

К вечерне заблаговестили... Славный колокол! Мягко и внятно зовёт, а мне в церковь идти не хочется. В голове будто мелкие гвозди насыпаны.

И как-то вдруг решил я: пойду жить в монастырь, где устав построже, поживу-ка один, в келье, подумаю, книг почитаю... Не соберу ли в одиночестве разрушенную душу мою в крепкую силу?

Через неделю в Савватеевской пустыни пред игуменом стою, - нравится он мне. Человек благообразный, седоватый и лысый, краснощёк и крепок, но лицо серьёзное и глаза обещающие.

- Почему, - спрашивает он, - сын мой, мира бежишь?

Объясняю, что расстроен душой по случаю смерти жены, а больше ничего не могу сказать, что-то мне мешает.

Он, бороду пощипывая, зорко смотрит на меня и снова говорит:

- Вклад сделать можешь?

- Есть, - мол, - у меня около ста рублей.

- Давай! Иди в странноприимную, завтра после обедни я ещё потолкую с тобой.

Странниками отец Нифонт заведовал, он тоже понравился мне.

- У нас, - говорит, - обитель простая, воистину братская, все равно на бога работают, не как в других местах! Есть, положим, баринок один, да он ни к чему не касается и не мешает никому. Здесь ты отдых и покой душе найдёшь, здесь - обрящешь!

За день я уже осмотрел обитель. Раньше, видимо, она в лесу стояла, да - вырубилась, кое-где пред воротами и теперь пни торчат, а с боков ограды лес заходит, двумя чёрными крыльями обнимая голубоглавую церковь и белые корпуса строений. Напротив Синь-озеро во льду лежит полумесяцем, - девять вёрст из конца в конец да четыре ширина, - и заозёрье видать: три церкви Кудеярова, золотую главу Николы в Толоконцеве, а по эту сторону, у монастыря, Кудеяровские выселки прикурнули, двадцать три двора. Кругом могучий лес.

Хорошо. Умиление тихо пало на душу. Вот где я побеседую с господом, разверну пред ним сокровенное души моей и со смиренной настойчивостью попрошу указать мне пути к знанию законов его!



Вечером всю ночь стоял; служат строго по чину, истово, пение однако несогласное, хороших голосов нет.

Молюсь я:

- Господи, прости, если дерзко мыслил о тебе, не от неверия это, но от любви и жажды, как ты знаешь, всеведущий!

Вдруг впереди стоявший монах оглянулся на меня и улыбается. Видно, громко прошептал я покаянные слова мои! Улыбается он - и сколь прекрасное лицо вижу я!.. Даже опустил голову и зажмурился - ни до той поры, ни после - такого красавца не видал. Подвинулся вперёд, встал рядом с ним и заглядываю в его дивное лицо - белое, словно кипень, в чёрной бороде с редкой проседью. Глаза у него большие, гордые, строен он и высок. Нос немного загнут, словно у кобчика, и во всей фигуре видно нечто благородное. Так он поразил меня, что даже во сне той ночью видел я его.

Рано утром разбудил меня Нифонт.

- Назначено, - говорит, - тебе послушание отцом игуменом; иди в пекарню, вот сей смиренный монашек отведёт тебя, он же начальство твоё! На-ко тебе одежду казённую!

Одеваюсь я в монастырское, наряд оказался впору, но всё ношеное и грязное, а у сапога подметка отстала.

Гляжу на своего начальника: широкоплеч, неуклюж, лоб и щёки в бородавках и угрях, из них кустики серых волос растут, и всё лицо как бы овечьей шерстью закидано. Был бы он смешноват - но лоб его огромный глубокими морщинами покрыт, губы сурово сжаты, маленькие глаза угрюмы.

- А ты живее! - приказывает он.

Голос грубый, но надорванный, точно колокол с трещиной.

Нифонт, улыбаясь, говорит:

- Зовут его - брат Миха! С богом!

Вышли на двор, темно; Миха запнулся за что-то - по матерному ругается. Потом спрашивает:

- Тесто месить умеешь?

- Видел, - говорю, - как бабы месят.

Ворчит:

- Бабы! Вам всё бабы, везде бабы! Через них мир проклят, надо помнить!

- Богородица, - мол, - женщина была.

- Ну?

- И много есть святых угодниц.

- Поговори! К чёрту в ад и угодишь!

"Однако, - думаю, - это серьёзный человек!"

Пришли в пекарню, зажгёт он огонь. Стоят два больших чана, мешками покрыты, и длинный ларь; лежит кульё ржаной муки, пшеничная в мешках. Сорно и грязно, всюду паутина и серая пыль осела. Сорвал Миха с одного чана мешки, бросил на пол, командует:

- Учись! Вот - подбойка! Пузыри - видишь? Значит - готова, взошла!

Взял куль муки, как трёхлетнего ребёнка, взвалил на край чана, вспорол ножом, кричит, как на пожаре:

- Лей воды четыре ведра! Меси!

И уже весь белый, как в инее. Сбросил ряску, засучил рукава. Он говорит:

- Это - никуда! Снимай штаны... Ногами!

- Я, - мол, - в бане давно не был...

- А тебя об этом спрашивают?

- Как же грязными-то ногами?

Как он заорёт:

- Ты мне под начал дан али я тебе?

Рот у него большой, зубы крупные, руки длинные, и он ими неласково махает.

"Ну, - думаю, - пёс с тобой!"

Вытер ноги мокрой тряпкой, залез в чан, топчусь, а начальник мой катается по пекарне и рычит:

- Я те согну, матушкин сынок!.. Я те научу смиренномудрию!

Вымесил я один чан - другой готов; этот замесил - пшеничное поспело; его уже руками надо было месить. Крепок был я парень, а к работе не привык: мука мне налезла и в нос, и в рот, и в уши, и в глаза, оглох, ничего не вижу, потом обливаюсь, а он в тесто капает.

- Тряпки, - говорю, - нет ли, пот вытирать?

Сердится Миха:

- Бархатные полотенца заведём для тебя. Двести тридцать два года обитель стояла - всё твоих порядков ждала!

Мне - смешно.

- Да ведь я, - мол, - не для себя! Люди хлеб-то будут есть!

Подошёл он ко мне, ошетинился, как ёж, и дрожит весь и мычит.

- Мешком отирайся, коли брезглив! А о дерзости твоей я игумену доложу!

Удивляет меня этот человек до того, что я и обижаться не могу. Работает он, не покладая рук, мешки-пятерики, как подушки, в руках у него, весь мукой обсыпался, урчит, ругается и все подгоняет меня:

- Живей возись!

Стараюсь так, что голова кружится.

Трудно дались мне первые дни послушания. Пекарня под трапезной была, в подвале, потолок в ней сводчатый, низкий, окно - одно только и наглухо закрыто; воздуха мало, туманом густым мучная пыль стоит, мечется в ней Миха, как медведь на цепи, мутно сверкает огонь в печи. И всё время только двое нас, - редко кого накажут послушанием, велят нам помогать. За службы в церковь некогда ходить. Миха каждый день поучает меня - словно крепкой верёвкой туго вяжет; горит он весь, дымится злобой против мира, а я дышу его речами и уже весь изнутри густо сажей покрыт.

- Люди для тебя кончились, - говорит, - они там в миру грех плодят, а ты от мира отошёл. А если телом откачнулся его - должен и мыслью уйти, забыть о нём. Станешь о людях думать, не минуя вспомнишь женщину, ею же мир повергнут во тьму греха и навеки связан!

я, бывало, едва рот открою, а он уже кричит:

- Молчи! Слушай опытного внимательно, старшего тебя с уважением! Знаю я - ты всё о богородице бормочешь! Но потому и принял Христос крестную смерть, что женщиной был рождён, а не свято и чисто с небес сошёл, да и во дни жизни своей мирволил им, паскудам этим, бабёнкам! Ему бы самарянку-то в колодезь кинуть, а не разговаривать с ней, а распутницу эту камнем в лоб, вот, глядишь, и спасён мир!

- Ведь это же не церковная мысль!

- И ещё говорю - молчи! Что ты знаешь - церковное, нецерковное? Церковь вся в руках белого духовенства, в плену блудников, щёголей; они вон сами в шёлковых рясах ходят, на манер бабьих юбок! Еретики они поголовно, им кадрили плясать, а не уставы писать! Разве женатый мужик может чисто мыслить о господних делах? Не в силе он - ибо продолжает велий грех прелюбодеяния, за него же люди изгнаны господом из садов райских! Тем грехом все мы презренно брошены во скорбь вечную и осуждены на скрежет зубовный и на судороги дьявольские и ослеплены, да не видим лица божия вовеки и век века! Священство - кое само сеть греха плетёт, рождая детей от женщины, - укрепляет этим мир на стезе гибели и, чтобы оправдать отступничество своё от закона, изолгало все законы!

Всё теснее сдвигает человек этот вокруг меня камни стен, опускает он свод здания на голову мою; тесно мне и тяжело в пыли его слов.

- Как же, - мол, - господь сказал: плодитесь, множьтесь?

Даже посинел мой наставник, ногами топает, ревёт:

- Сказал, сказал!.. А ты знаешь, как он сказал, ты, дурак? Сказал он: плодитесь, множьтесь и населяйте землю, предаю вас во власть дьявола, и будь вы прокляты ныне и присно и во веки веков, - вот что он сказал! А блудники проклятие божие обратили в закон его! Понял, мерзость и ложь?

Обрушится он на меня, подобно горе, и задавит; потемнеет всё вокруг меня. Верить не могу я, но и опровергнуть изуверство его не в силах растерялся под напором страсти его. Приведу ему текст из писания, а он мне - три, и обезоружит мысль мою. Писание - пёстрый луг цветов; хочешь красных - есть красные, белых хочешь - и они цветут. Убито молчу пред ним, а он торжествует, горят его глаза, как у волка. И всё время вертимся мы в работе: я мешу, он хлебы раскатывает, в печь сажает; испекутся - вынимать их начнёт, а я на полки кладу, руки себе обжигая. Тестом я оклеен, мукой посыпан, слеп и глух, плохо понимаю от усталости.

Приходят к нам разные монахи, говорят о чём-то намёками, смеются; Миха злобно лает на всех, гонит вон из пекарни, а я - как варёный: и угрюм стал и тяжело мне с Михаилом, не люблю я его, боюсь.

Несколько раз он спрашивал меня:

- Голых баб видишь во сне?

- Нет, - мол, - никогда.

- Врёшь ты! Зачем врёшь?

Сердится, зубы оскалил, кулаком мне грозит, кричит:

- Лжец и пакостник!

Я только удивляюсь ему. Какие там бабы голые? Человек с трёх утра до десяти часов вечера работает, ляжешь спать, так кости ноют, подобно нищим зимой, а он - бабы!

Однажды пошёл я в кладовую за дрожжами - тут же в подвале против пекарни тёмная кладовая была - вижу, дверь не заперта, и фонарь там горит. Открыл дверь, а Миха ползает на животе по полу и рычит:

- Отжени, молю тя, господи! Отжени... Освободи.

Я, конечно, тотчас же ушёл, но не догадался, в чём дело.

Ненавистно говорил он о женщинах и всегда похабно, называя всё женское грубо, по-мужицки, плевался при этом, а пальцы скрючивал и водил ими по воздуху, как бы мысленно рвал и щипал женское тело. Нестерпимо мне слышать это, задыхаюсь. Вспомню жену свою и счастливые слёзы наши в первую ночь супружества, смущённое и тихое удивление друг перед другом, великую радость...

"Разве это не твой сладкий дар человеку, господи?"

Вспомню доброе сердце Татьяны, простоту её, – обидно мне за женщину до слёз. Думаю:

"Когда игумен позовёт меня для разговора, всё ему скажу!"

А он не зовёт. Дни идут, как слепые лесом по тесной тропе, натываясь друг на друга, а игумен не зовёт меня. Темно мне.

В то время – в двадцать два года от роду – первые седые волосы явились у меня.

Хочется с прекрасным монахом поговорить, но вижу я его редко и мельком – проплывёт где-нибудь гордое лицо его, и повлечётся вслед за ним тоска моя невидимой тенью.

Спрашивал я Михайлу про него.

– Ага-а!.. – кричит Миха. – Этот? Да, этот праведной жизни скот, как же! За игру в карты из военных выгнан, за скандалы с бабами – из духовной академии! Из офицеров в академию попал! В Чудовом монастыре всех монахов обыграл, сюда явился – семь с половиной тысяч вклад сделал, землю пожертвовал и этим велик почёт себе купил, да! Здесь тоже в карты играет игумен, келарь, казначей да он с ними. Девка к нему ездит... О, сволочи! Келья-то у него отдельная, ну, он там и живёт как ему хочется! О, великая пакость!

Не верил я этому, не мог.

Как-то раз прошу келаря, отца Исидора, допустить меня до игумена для беседы.

– О чём беседа?

– О вере, – мол.

– Что такое – о вере?

– Разные вопросы имею.

Смотрит на меня сверху вниз; был он на голову выше меня, худой, костлявый, глаза умные, насмешливые, нос кривой и длинная острая борода.

– Прямо говори – плоть одолевает?

Далась им эта плоть!

Неохота мне, но всё-таки сказал я ему кратко некоторые сомнения мои. Нахмурился, улыбается.

– Против этого, сын мой, молитва – средство, молитвою да излечишь недуг души твоей! Но – во внимание к трудолюбию твоему, а также по необычности просьбы твоей – я игумену доложу. Ожидай!

Слово "необычность" удивило меня, почувствовал я в нём пустоту, враждебную мне.

И вот зовут меня к отцу игумену, смотрит он зорко, как я поклоны бью, и властно говорит:

– Передал мне отец Исидор желание твоё состязаться о вере со мной...

- Я, - мол, - не спорить хочу...

- А - не перебивай речь старшего! Всякое рассуждение двоих об одном предмете есть уже спор, и всякий вопрос - соблазн мысли, - если, конечно, предмет не касается ежедневной жизни братской, дела текущего! Здесь у нас рабочее содружество, трудимся мы для поддержания плоти, дабы временно пребывающая в ней душа могла воспарять ко господу, молясь и предстательствуя милости его о грехах мира. У нас суть не училище мудрствования, а работа; и не мудрость нужна нам, но простота души. Споры твои с братом Михайлой известны мне, одобрить их не могу! Дерзость мысли твоей умеряй, дабы не впасть во искушение, ибо разнузданная, не связанная верою мысль есть острейшее оружие дьявола. Разум - от плоти, а сия - от дьявола, сила же души - частицы духа божьего; откровение даруется праведному через созерцание. Брат Михаила, начальник твой, - суровый монах, но истинный подвижник и брат, всеми здесь любимый за труды свои. Налагается мною на тебя эпитимия - по окончании дневного труда твоего будешь ты в левом приделе пред распятием акафист Иисусу читать трижды в ночь и десять ночей. Засим, назначаются тебе также беседы со схимонахом Мардарием, время будет указано и число оных. Ты ведь в экономии приказчиком был? Иди с миром, я о тебе подумаю! Родных, кажись, не имеешь в миру? Ступай, я помолюсь о тебе! Надейся на лучшее!

Воротился я к себе в пекарню, стал эту речь взвешивать в уме - легко весит!

Может, разум и заблуждается в исканиях своих, но бараном жить едва ли достойно и праведно для человека. Созерцание же молитвенное я в ту пору понимал как углубление в недра духа моего, где все корни заложены и откуда мысль стремится расти кверху, подобно дереву плодовому. Враждебного себе и непонятного в душе моей я ничего не находил, а чувствовал непонятное в боге и враждебное в мире, значит - вне себя. А что братия Михайлу любит - это прямая неправда была; я хотя в стороне от всех стоял, в разговоры не вмешивался, но - ко всему присматриваясь - видел, что и рясофорные и послушники презирают Михаила, боятся его и брезгуют им.

Вижу также, что обитель хозяйственно поставлена: лесом торгует, земли в аренду мужикам сдаёт, рыбную ловлю на озере; мельницу имеет, огороды, большой плодовый сад; яблоки, ягоды, капусту продаёт. На конюшнях восемнадцать лошадей, братии более полуста, и все - народ крепкий, рабочий, стариков немного, - для парада, для богомольцев едва хватает. Монахи и вино пьют и с женщинами усердно путаются; кои помоложе, те на высылки ночами бегают, к старшим женщины ходят в кельи, якобы полы мыть; ну, конечно, богомолками тоже пользуются. Всё это дело не моё, и осуждать я не могу, греха в этом не вижу, но ложь противна. Послушников много, послушания тяжёлые, и не держится народ - бежит. При мне, за два года жизни в обители, одиннадцать человек сбежало; с месяц-два проживут и - давай бог ноги! Трудно!

Конечно, и для богомольцев приманки имелись: вериги схимонаха Иосафа, уже усопшего, от ломоты в коленях помогали; скуфейка его, будучи на голову возложена, от боли головной исцеляла; в лесу ключ был очень студёный, - его вода, если облиться ею, против всех болезней действовала. Образ успения божьей матери ради верующих чудеса творил; схимонах Мардарий прорицал будущее и утешал горе людское. Всё было как следует, и весной, в мае, народ валом к нам валил.

После разговора с игуменом и мне захотелось в другой монастырь идти, где бы победнее, попроще и не так много работы; где монахи ближе к делу своему - познанию грехов мира - стоят, но захлестнули меня разные события.

Сошёлся я вдруг с одним послушником, Гришей, - в конторе монастырской занимался он. Замечал я его давно: ходит между братией всегда поспешно и бесшумно юноша в дымчатых очках, незаметное лицо, сутуловатый, ходит, наклоня голову, как бы не желая видеть ничего иного, кроме пути своего.

На другой день после разговора моего с игуменом явился этот Гриша в пекарню, - Михаила на доклад к отцу казначею пошёл, - явился, тихо поздоровался, спрашивает:

- Были, братец, у игумена?

- Был.

- Беседовали?

- Нет.

- Прогнал?

- За что?

Поправил он очки, смутился, говорит:

- Простите, Христа ради!

- А вас разве прогонял?

Кивает головой утвердительно.

Присел на ларь, согнулся весь, сухо покашливает, стучит пятками по стенке ларя, а я ему рассказываю речи игумена. И вдруг он вскочил на ноги, выпрямился весь, как пружина, и заговорил звонко, горячо:

- Почему же называют это место - местом спасения души, если и здесь всё на деньгах построено, для денег живём, как и в миру? Я сюда от греха торговли, а она здесь против меня, - куда бегу теперь?

Дрожит весь и спешно рассказывает про себя: сын купца, булочника, коммерческое училище кончил и был уже приставлен отцом к торговле.

- Пустяками какими-нибудь, - говорит, - я бы стал торговать, а хлебом - стыдно и неловко! Хлеб есть необходимое всем, нельзя забирать его в одни руки, чтоб выжимать барыш из нужды людской! Отец сломил бы меня, да его самого жадность сломила. Была у меня сестра, гимназистка, весёлая, бойкая, со студентами знакомилась, книжки читала, и вдруг отец говорит ей: "Брось учиться, Лизавета, я тебе жениха нашёл". Плачет она, бьётся, кричит: "Не хочу!" А он её - за косу, и довёл до того, что покорилась сестрёнка ему. Жених - сын богатейшего чайного торговца, косой, огромный парень, грубиян, и всё кичится богатством своим. Лиза против его - как мышь против собаки; противен он ей! А отец говорит: "Дура, у него торговля во многих городах по Волге!" Ну, и обвенчали её, а во время парадного обеда вышла она в свою комнату и выстрелила из пистолета в грудь себе. Я ещё живой застал её, говорит мне: "Прощай, Гриша, очень хочется жить, а нельзя - страшно, не могу, не могу!"

Помню, говорил он быстро-быстро, как бы убегая от прошлого, а я слушаю и гляжу в печь. Чело её предо мной - словно некое древнее и слепое лицо, чёрная пасть полна злых языков ликующего пламени, жуёт она, дрова свистят, шипят. Вижу в огне Гришину сестру и думаю: чего ради насилуют и губят люди друг друга?

И сыплются, как осенние сухие листья, частые Гришины слова:

- ...Отец обезумел, топает ногами, кричит: "Опозорила родителя, погубила душу!" И только после похорон, как увидел, что вся Казань пришла провожать Лизу и венками гроб осыпали, опамятовался он. "Если, говорит, весь народ за неё встал, значит, подлец я перед дочерью!"

Плачет Гриша, вытирает свои очки, а руки у него трясутся.

- А у меня ещё до этой беды мечта была уйти в монастырь, тут я говорю отцу: "Отпустите меня!" Он и ругался и бил меня, но я твёрдо сказал: "Не буду торговать, отпустите!" Будучи напуган Лизой, дал он мне свободу, и вот, за четыре года в третьей обители живу, а --езде торговля, нет душе моей места! Землёю и словом божьим торгуют, мёдом и чудесами... Не могу видеть этого!

Разбудила его история душу мою, мало думал я, живя в монастыре, утомил меня труд, задремали мятежные мысли - и вдруг всё снова вспыхнуло.

Спрашиваю Гришу:

- Где же наш господь? Нет вокруг нас ничего, кроме своевольной и безумной глупости человеческой, кроме мелкого плутовства, великие несчастья порождающего,

- где же бог?

Но тут явился Михайла и разогнал нас. С того дня начал Гриша часто бегать ко мне, я ему свои мысли говорю, а он ужасается и советует смирение, говорю я:

- Зачем столько горя людям?

- За грехи, - отвечает. И всё у него от руки божией - голод, пожары, несчастные смерти, гибельные разливы рек - всё!

- Разве, - мол, - бог есть сеятель несчастий на земле?

- Вспомни Иова, безумный! - шепчет он мне.

- Иов, - говорю, - меня не касается! Я на его месте сказал бы господу: не пугай, но ответь ясно - где пути к тебе? Ибо аз есмь сын силы твоя и создан тобою по подобию твоему, - не унижай себя, отталкивая дитя твоё!

Плачет, бывало, Гришуха от дерзостей моих, обнимает меня.

- Милый брат мой, - шепчет, - боюсь я за тебя до ужаса! Речи и суждения твои от дьявола!

- В дьявола не верую - коли бог всемогущ...

Он ещё больше взволнуется; чистый был и нежный человек, любил я его.

Я тогда эпитимию отбывал. Кончу работать - иду в церковь. Брат Никодим откроет двери мне и запрет меня, наполнив тишину храма гулким шумом железа. Подожду я у двери, пока не ляжет этот гул на каменные плиты пола, подойду тихонько к распятию и сяду на полу перед ним - нет у меня силы стоять, кости и тело болят от работы, и акафист читать не хочется мне. Сажу, обняв колени, и смотрю вокруг сонными глазами, думая о Грише, о себе. Лето было тогда, ночи жаркие, а здесь - прохладный сумрак, кое-где лампы мелькают, перемигиваются; синеватые огоньки тянутся кверху, словно хотят взлететь в купол и выше - в небо, к летним звёздам. Слышен тихий треск свечей, звучит он разное, сквозь дрему мне кажется, что во храме кто-то невидимо живёт, тайно беседуя робким мельканьем лампад. В тёплой тишине и тьме вдумчиво колеблются лики святых, словно и перед ними встало что-то нерешённое. Призрачные тени, тихо коснувшись лица моего, овевают сладким дыханием масла, кипариса и ладана. Золото и медь стали мягче, скромнее, серебро блестит тепло, ласково, и всё тает, плавится, сливаясь в широкий поток великой о чём-то мечты. Храм, как густое душистое облако, колеблется и плывёт в тихом шёпоте неясной мне молитвы. Закружусь я в хороводе теней, и поднимет меня с пола ласковый сон. А перед тем, как ударить к заутрене, подойдёт ко мне молчаливый брат Никодим, разбудит, тихонько коснувшись головы, и скажет:

- Иди с богом!

- Прости, - мол, - меня, я опять заснул!

Иду и шатаюсь на ногах, а Никодим, поддерживая меня, чуть слышно говорит:

- Бог тебя простит, кормилец мой!

Был Никодим незаметный старичок, ото всех прятаящий лицо своё, и всякого человека он называл "кормилец".

Однажды спросил я его:

- Ты, Никодимушка, по обету молчишь?

- Нет, - говорит, - так, просто.

И вздохнул:

- Кабы знал, что сказать, - говорил бы!

- А отчего из мира ушёл?

- Оттого и ушёл.

Начнёшь его дальше спрашивать - не отвечает, иногда взглянет в лицо тебе виноватыми глазами и тихонько скажет:

- Не знаю я, кормилец!

Бывало, подумаешь:

"Может, этот человек тоже ответов искал..."

И захочется бежать из монастыря.

А тут явился ещё один сударь - вдруг, точно мяч через ограду перескочил - крепкий такой попрыгун, бойкий, маленький. Глаза круглые, как у совы, нос горбом, кудри светлые, борода пушистая, зубы блестят в постоянной улыбке. Веселит всех монахов шутками, про женщин похабно рассказывает, по ночам водит их в обитель, водки без меры достаёт и во всём удивительно ловок.

Посмотрел я на него и говорю:

- Ты чего в монастыре ищешь?

- Я? Жратвы!

- Хлеб работой добывают!

- Это, - говорит, - на мужиков богом возложено, а я - мещанин, да ещё в казённой палате два года служил, так что вроде начальства числю себя!

Я и этого забавника начал раскрывать - надо мне видеть все пружины, какие людьми двигают. Как привык я к работе моей, Михайла лениться стал, всё убегает куда-то, а мне хоть и трудно одному, но приятнее: народ в пекарню свободно ходит, беседуем.

Чаще всего сходились мы трое: Гриша, я и весёлый Серафим. Гриша волнуется, машет руками на меня, Серафим свистит, потряхивая кудрями, улыбается.

Как-то раз спросил я его:

- Серафим, а ты, бродяга, в господу веруешь?

- Потом, - говорит, - скажу, подожди лет тридцать. Ударит мне под шестьдесят, я, наверное, буду знать, верую ли, а сейчас я этого не понимаю; врать же - охоты нет!

И начнёт рассказывать про море. Говорил он о нём, как о великом чуде, удивительными словами, тихо и громко, со страхом и любовью, горит весь от радости и становится подобен звезде. Слушаем мы его, молчим, и даже грустно от рассказов его об этой величавой живой красоте.

- Море, - жгуче говорил он, - синее око земли, устремлённое в дали небес, созерцает оно надмирные пространства, и во влаге его, живой и чуткой, как душа, отражаются игры звёзд - тайный бег светил. И если долго смотреть на волнение моря, то и небеса кажутся отдалённым океаном, звёзды же - золотые острова в нём.

Гриша, бледный, слушает его и, улыбаясь тихой, как бы лунной, улыбкой, печально шепчет:

- И пред лицом сих тайн и красот мы - только торгуем! Ничего более... О, господи!

Или начинает Серафим о Кавказе говорить - представит нам страну мрачную и прекрасную, место, сказке подобное, где ад и рай обнялись, помирились и красуются, братски равные, гордые величием своим.

- Видеть Кавказ, - внушает Серафим, - значит видеть истинное лицо земли, на коем



Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- не противоречя - сливаются в одну улыбку и снежная чистота души ребёнка и гордая усмешка мудрости дьявольской. Кавказ - проба сил человека: слабый дух подавляется там и трепещет в страхе перед силами земли, сильный же, насыщаясь ещё большей крепостью, становится высок и остр, подобно горе, возносящей алмазную вершину свою во глубину небесных пустынь, а вершина эта - престол молний.

Вздыхает Гриша и тихо спрашивает:

- Кто укажет душе путь её? К миру или прочь от него идти надо? Что признать и что отринуть?

Серафим рассеянно и светло усмехается.

- Не убавится и не прибудет силы солнца от того, как ты, Гришуха, в небо поглядишь; не беспокойся об этом, милый!

Понимаю я Серафима - и нет. Спрашиваю с досадой:

- Ну, а люди как, по-твоему? К чему они?

Пожимает он плечами, улыбается.

- Что же - люди? Люди, как травы, все разные. Для слепого и солнце черно. Кто сам себе не рад, тот и богу враг. А впрочем, молоды люди - трёх лет Ивана по отчеству звать рано!

Прибауток у него, как у Савёлки, полон рот был, сыпал он ими, как яблоня цветами. Как только поставишь ему серьёзный вопрос, он сейчас же набросает на него слов своих, как трав на гроб младенца. Задевает меня его уклончивость, сержусь, а он, чёрт, хохочет.

Бывало, в досаде скажешь ему:

- Зря ты шляешься, лентяй! Даром чужой хлеб ешь!

- У нас, - говорит, - кто ест свой хлеб, тот и голоден. Вон мужики весь век хлеб сеют, а есть его - не смеют. А что я работать не люблю верно! Но ведь я вижу: от работы устанешь, а богат не станешь, но кто много спит, слава богу - сыт! Ты бы, Матвей, принимал вора за брата, ведь и тобой чужое взято!

Засмеёшься. Прост он был и этим привлекал, никак не притворялся, а прямо говорил:

- Я насекомое малое и вред людям не велик приношу тем, что кусок хлеба попрошу да съем.

Вижу я, у этого человека Савёлкин строй души - и удивляюсь: как могут подобные люди сохранять среди кипения жизни ясность духа своего и веселие ума?

Серафим против Гриши - как ясный день весны против вечера осени, а сошлись они друг с другом ближе, чем со мной. Это было немножко обидно мне. Вскоре и ушли они вместе, Гриша решил в Олонецк идти, а Серафим говорит:

- Провожу его, отдохну там с неделю, да опять на Кавказ! И тебе, Матвей, с нами бы шагать - в движении скорее найдёшь, что тебе надо. Или потеряешь... и то хорошо! Из земли бога не выкопать!

Но я с ними не мог идти - в ту пору на беседы к Мардарию ходил, и очень любопытен был для меня схимник.

С великой грустью проводил я их, - тихий вечер мой и весёлый день!

Схимонах Мардарий жил в землянке у церковной стены сзади алтаря; в старину эта яма тайником была - монастырские сокровища от разбойников прятали в ней, и прямо из алтаря был в неё подземный ход. Разобрали над этой ямой каменный свод, покрыли её толстыми досками и поставили над нею лёгкую келейку с окошком в потолке. А в полу сделана была решётка, ограждённая перилами, сквозь её богомольцы разглядывали схимника. В углу кельи - подъёмная дверь, и лестница

Исповедь. Максим Горький gorki.ucoz.ru

винтом опускалась вниз к Мардарию, – у сходящего по ней кружилась голова. Яма – глубокая, двенадцать ступенек до дна, света в ней только один луч, да и тот не доходил до пола, таял, расплываясь в сырой тьме подземного жилища.

Долго и пристально надо смотреть сквозь решётку, покуда увидишь в глубине темноты нечто темнее её, как бы камень большой или бугор земли, это и есть схимник, недвижим сидит.

Спустишься к нему, охватит тебя тепловатой пахучей сыростью, и первые минуты не видишь ничего. Потом выплывет во тьме аналой и чёрный гроб, а в нём согбенно помещился маленький старичок в тёмном саване с белыми крестами, черепами, тростью и копьём, – всё это смято и поломано на иссохшем теле его. В углу спряталась железная круглая печка, от неё, как толстый червь, труба вверх ползёт, а на кирпиче стен плесень выросла зелёной чешуёй. Луч света вонзился во тьму, как меч белый, и проржавел и рассыпался в ней.

На примятых стружках беззвучно, словно тень, качается схимник, руки у него на коленях лежат, перебирая чётки, голова на грудь опущена, спина выгнута подобно коромыслу.

Помню, пришёл я к нему, опустился на колени и молчу. И он тоже долго молчал, и всё вокруг было насыщено мёртвым молчанием. Лица его не видно мне, только тёмный конец острого носа вижу.

Шепчет он чуть слышно:

– Ну...

А я не могу говорить, охватила меня и давит жалость к человеку, живым во гроб положенному.

Подождав, он снова спрашивает:

– Что же... говори...

И повернул ко мне своё лицо – тёмное оно, а глаз я не вижу на нём, только белые брови, борода да усы, как плесень на жутком, стёртом тьмою и неподвижном лице. Слышу шелест его голоса:

– Ты там споришь... Зачем же спорить... Богу надо покорно служить. Что с ним спорить, с богом-то, бога надо просто любить.

– Я, – мол, – люблю его.

– Ну, вот. Он тебя наказывает, а ты будто не видишь, и говори: слава тебе, господи, слава тебе! И всегда это говори. Больше ничего.

Видимо, трудно ему от слабости или разучился он говорить, – слова его чуть живы, и голос подобен трепету крыльев умирающей птицы.

Не могу я ни о чём спросить старика, жалко мне нарушить покой его ожидания смерти и боюсь я, как бы не спугнуть чего-то... Стою не шевелюсь. Сверху звон колокольный просачивается, колеблет волосы на голове моей, и нестерпимо хочется мне, подняв голову, в небеса взглянуть, но тьма тяжко сгибает выю мне, – не шевелюсь.

– Ты помолись-ка, – говорит он мне. – И я помолюсь за тебя.

Замер. Тихо. И струится жуткий страх по коже моей, обливая грудь снежным холодом.

А через некоторое время шепчет он:

– Ты еще тут?

– Да.

– Не вижу я. Ну, иди с богом! Ты – не спорь.

Ушёл я тихонько. Как поднялся на землю и вздохнул чистым воздухом, опьянел от радости, голова закружилась. Сырой весь, как в погребу был. А он, Мардарий, четвёртый год там сидит!

Пять бесед назначено было мне, но я всё молчал. Не могу. Спущусь к нему, прислушается он и нездешним голосом спросит:

- Пришёл. Вчерашний ли?

- Да, это я.

Тут он начинает шептать с перерывами:

- Ты бога не обижай... Чего тебе надо?.. Ничего не надо... Кусочек хлебца разве. А бога обижать грех. Это от беса. Беси - они всяко ногу подставляют. Знаю я их. Обижены они, беси-то. Злые. Обижены, оттого и злы. Вот и не надо обижаться, а то уподобишься бесу. Тебя обидят, а ты им скажи: спаси вас Христос! И уйди прочь. Ну их! Тленность они все. Главное-то твоё. Душу-то не отнимут. Спрячь её, и не отнимут.

Сеет он потихоньку слова свои, осыпаются они на меня, как пепел дальнего пожара, и не нужны мне, не трогают души. Как будто чёрный сон вижу, непонятный, тягостно-скучный.

- Молчишь ты, - раздумчиво говорит он, - это хорошо. Пусть их как хотят, а ты молчи. Другие ходят ко мне, те - говорят. Много говорят. Нельзя понять, о чём они. Про женщин каких-то. А мне что? Про всё говорят а про что про всё? Непонятно. Ты знай молчи. Я бы тоже не говорил, да игумен тут - утешай, - надо утешать! Ну, ладно. А сам я очень бы молчал. Ну их всех к богу! У меня всё отнято. Молитва только осталась. Что тебя мучают - ты не замечай. Беси мучают. Мучили и меня. Брат родной. Бил. А то - жена. Мышьком меня травила. Был я для неё как мышь, видно. Обокрали всего. Сказали - будто я деревню-то поджёг. В огонь бросить хотели. И в тюрьме сидел. Всё было. Судили - ещё сидел. Бог с ними! Я всех простил. Не виноват - а простил. Это - для себя. Лежала на мне гора обид. Дышать не мог. А как простил, - ничего! Нет горы. Беси обиделись и отошли. Вот и ты - прости всем... Мне - ничего не надо. И тебе то же будет.

На четвёртой беседе просит он меня:

- Принеси-ка ты мне хлебца корочку. Я бы пососал... Неможен я - прости ты меня, Христа ради!

Жалко мне его стало до боли в сердце. Слушаю бред его и думаю:

"Зачем это надо, о господи? Зачем же?"

А он шелестит иссохшим языком:

- Кости у меня болят. Нуют день и ночь. Корочку-то пососу - легче будет, может. А то зудят кости, мешают. Надо ведь молиться все минуты. И во сне - надо. А то сейчас и напомнит бес. Имя твоё напомнит, и где ты жил, всё. Он вот тут на печке сидит. Ему - ничего, что иной раз горячая она, красная. Он - привык. Сядет sereneкий против меня и сидит. Я его закрену, да уж и не гляжу на него. Надоел он. Ну его! А то по стене ползает, пауком. Ино тряпицей серой болтается в воздухе. Он - разнo может, мой-то. Скучно со стариком. А приставили - надо стеречь. Тоже и ему не сладко, со стариком-то. Я уж и не обижаясь на него. И бес подневолен. Привык я к нему. Ну тебя, говорю, надоел ты! И не гляжу. Он - ничего, не озорник. Только всё напоминает, как меня звали.

Поднял старичок голову и довольно громко сказал:

- А звали-то меня Михайло Петров вяхирев!

И снова осел весь в гроб свой, шепчет:

- Таки толкнул бес... Ах ты, бес! Ты здесь, брат? Иди-ко с господом!

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Плакать я готов был в тот день со зла... Ну, зачем старик этот? Какая красота в подвиге его? Ничего не понимаю! Весь день и долго спустя вспомню я про него - как будто и меня дразнит некий бес, насмешливые рожи строя.

Когда последний раз пошёл я к нему, то набил карманы мягким хлебом - с досадой и злостью на людей понёс этот хлеб. И когда отдал ему - он зашептал:

- Ого-го! Тёплый. Ого-го-го...

Возится во гробе, стружки под ним скрипят, прячет хлеб и всё шепчет:

- Ого-го...

И тьма и плесень стен - всё вокруг шевелится, повторяя тихим стоном шёпот схимника:

- О-о-о.

Четыре раза в неделю пищу он принимал; конечно, голодно было ему.

В тот последний раз он уж ничего не говорил со мной, и только чмокал, посасывая хлеб, - видимо, зубов у него совсем уже не было.

Постояв несколько времени, говорю ему:

- Ну, прости меня, Христа ради, отец Мардарий, ухожу я и больше не приду! Спасибо моё прими!

- Да, да, - торопливо отвечает он, - спасибо тебе, спасибо! Ты монахам-то не говори. Про хлеб-то. Отнимут ещё. Они завистливы, монахи-то. Их ведь беси тоже знают. Беси всё знают. Ты молчи!

После этого вскоре захворал и помер он. Хоронили торжественно владыка из города со священством приезжал и соборне литургию служил. Потом слышал я, что над могилою старичка по ночам синий огонёк сам собою загорается.

Сколь жалостно всё это! И сколь постыдно людям!

Вскоре после этого жизнь моя круто повернулась.

Ещё при Грише был со мною подлый случай: вхожу я однажды в кладовую, а Михайла на мешках лежит и онановым грехом занимается. Невыразимо противно стало мне; вспомнил я пакости, кои он про женщин говорил, вспомнил ненависть его, плюнул, выскочил в пекарню, дрожу весь со зла, и стыдно мне и горестно. Он за мной... Пал на колени, умоляет меня, чтобы я молчал, рычит:

- Ведь и тебя она смущает по ночам, знаю я! Сильна власть дьявола...

- Врёшь, - говорю, - пойдя ты ко всем чертям! сгинь! Ведь ты - хлеб печёшь, собака!

Ругаюсь, не могу удержаться. Если бы он женщин не пачкал грязными словами своими, так пёс с ним! А он всё ползает, просит, чтобы я молчал.

- Да разве, - говорю, - об этом скажешь? Ведь стыдно же! Но - работать с тобой не хочу! И ты скажи, чтобы перевели меня на другое послушание...

На том я и встал.

О ту пору люди-то всё ещё не были живы и видны для меня, и старался я только об одном - себя бы в сторону отодвинуть.

Михайла захворал и лёг в лечебницу, работаю я за старшего, дали мне в подмогу двух помощников; прошло недели три, и вдруг зовёт меня келарь и говорит, что Михайла выздоровел, но работать со мной не желает из-за моего строптивного характера, и потому назначен я, пока что, в лес пни корчевать. Это считалось наказанием.

- За что? - спрашиваю.

И вдруг в контору входит красавец-монах, отец Антоний, становится скромно к сторонке и слушает. Келарь же объясняет мне:

- А именно за строптивость характера твоего и за дерзостные суждения о братии; это в твои годы и в положении твоём глупо, нетерпимо и должно быть наказано! Вот отец настоятель, по добросердечию своему, говорил, что надо тебя в контору перевести, на более лёгкое послушание, а выходит - вон оно что...

Говорил он долго, гнусаво и бесчувственно; вижу я, что не по совести, а по должности путает человек слова одно с другим. А отец Антоний, прислонясь к лежанке, смотрит на меня и, поглаживая бороду, улыбается прекрасными глазами, словно поддразнивает меня чем-то. Захотелось мне показать ему мой характер, и говорю я келарю:

- Возвышения - не ищю, унижения - не желаю принять, ибо - не заслужил, как вы знаете это, но хочу справедливости!

Покраснел келарь, посохом стучит.

- Цыц, дерзновенный!

Отец Антоний наклонился к уху его и что-то сказал.

- Сие - невозможно! - говорит келарь. - Должен он принять кару без ропота!

Пожал Антоний плечами и обратился ко мне, - голос у него басовитый, тёплый:

- Подчинись, Матвей!

Победил он меня двумя словами и ласковым взглядом своим. Положив келарю земной поклон, поклонился я и ему, а потом спрашиваю келаря - когда мне идти в лес?

- Через три дня, - говорит, - а эти три дня ты во узилище посидишь! Так-то!

Не будь тут Антония, я бы, наверное, кости келарю переломал. Но его слова были приняты мною за некий намёк на возможность приблизиться к нему, а ради этого я тогда готов был руку себе отрубить и - на все.

И повели меня в карцер - в ямку под конторой; ни встать там, ни лечь, только сидеть можно. На полу солома брошена, мокра от сырости. Тихо, как в могиле, даже мышей нет, и такая тьма, что руки тонут в ней: протянешь руку пред лицом, и - нет её.

Сижу - молчу. И всё во мне молчит, как свинцом облито, тяжёл я, подобно камню, и холоден, словно лёд. Сжал зубы, будто этим хотел мысли свои сдержать, а мысли разгораются, как угли, жгут меня. Кусаться рад бы, да некого кусать. Схватился руками за волосы свои, качаю себя, как язык колокола, и внутренне кричу, реву, беснуюсь.

"Где же правда твоя, господи? Не ею ли играют беззаконники, не её ли попирают сильные в злобном опьянении властью своей? Кто я пред тобой? Беззаконию жертва или страж красоты и правды твоея?"

Вспоминаю уклад жизни монастырской - неприглядно и глумливо встаёт она предо мной. Почему монахи - слуги божий? Чем они святее мирян? Знаю я тяжёлую мужицкую жизнь в деревнях: сурово живут мужики! Далеко они от бога: пьют, дерутся, воруют и всяко грешат, но ведь им неведомы пути его, и двигаться к правде нет сил, нет времени у них, - каждый привязан к земле своей и прикован к дому своему крепкой цепью страха перед голодом; что спросить с них? А здесь люди свободно и сыто живут; здесь открыты пред ними мудрые книги, - а кто из них богу служит? Только слабые и бескровные, вроде Гриши, остальным же бог - только защита во грехе и источник лжи.

Вспоминаю злую жадность монахов до женщины и все пакости плоти их, коя и скотом не брезгует, лень их и обжорство, и ссоры при дележе братской кружки, когда они злобно каркают друг на друга, словно вороны на кладбище. Рассказывал мне Гриша,

что как ни много работают мужики на монастырь этот, а долги их всё растут и растут.

О себе думаю: вот уже давно я маюсь здесь, а что приобрёл душе? Только раны и ссадины. Чем обогатил разум? Только знанием пакости всякой и отвращением к человекуам.

А вокруг – тишина. Даже звон колокольный не доходит ко мне, нечем время мерить, нет для меня ни дня, ни ночи, – кто же смеет свет солнца у человека отнимать?

Промозглая темнота давит меня, сгорает в ней душа моя, не освещая мне путей, и плавится, тает дорогая сердцу вера в справедливость, во всеведение божие. Но яркой звездой сверкает предо мной лицо отца Антония, и все мысли, все чувства мои – около него, словно бабочки ночные вокруг огня. С ним беседую, ему творю жалобы, его спрашиваю и вижу во тьме два луча ласковых глаз. Дорогоньки были мне эти три дня: вышел я из ямы – глаза слепнут, голова – как чужая, ноги дрожат. А братия смеётся:

– Что, удостоился баньки духовной?

Вечером игумен позвал меня, поставил на колени и долго речь говорил.

– Сказано: зубы грешника сокрушу и выю его согну долу...

Молчу, держу сердце в руке. Умиротворяющий Антоний предо мной стоит и запечатывает злые уста мои ласковым взглядом.

И вдруг – смягчился игумен.

– Тебя, дурак, ценят, – говорит, – о тебе думают, ревность твою к работе заметили, разуму твоему хотят воздать должное. И вот ныне я предлагаю тебе даже на выбор два послушания: хочешь ли ты в конторе сидеть, или – в келейники к отцу Антонию?

Точно тёплой водой облил он меня, задохнулся я от радости и едва выговорил:

– Благословите в келейники...

Сморщил он лицо, задумался, пытливо смотрит на меня.

– Ежели, – говорит, – в контору идёшь, я сложу с тебя корчеванье, а в келейники – прибавлю работы в лесу.

– Благословите в келейники...

Он строго спрашивает:

– Почему, глупый? Ведь в конторе легче и почётнее!

Стою на своём.

Склонил он голову, подумал.

– Благословляю, – говорит. – Чудной ты парень однако – надо следить за тобою... Иди с миром!

Пошёл я в лес.

Весна была тогда, апрель холодный.

Работа трудная, лес – вековой, коренья редькой глубоко ушло, боковое толстое, – роешь-роешь, рубишь-рубишь – начнёшь пень лошадей тянуть, старается она во всю силу, а только сбрую рвёт. Уже к полудню кости трещат, и лошадь дрожит и в мыле вся, глядит на меня круглым глазом и словно хочет сказать:

"Не могу, брат, трудно!"

Поглажу её, похлопаю по шее.

- Вижу! - И снова рыть да рубить, а лошадь смотрит, встряхивая шкурой и качая головой. Лошади - умные; я полагаю, что бессмыслие деяний человеческих им видимо.

В это время была у меня встреча с Михайлой; чуть-чуть она худо не кончилась для нас. Иду я однажды после трапезы полуденной на работу, уже в лес вошёл, вдруг догоняет он меня, в руках - палка, лицо озверевшее, зубы оскалил, сопит, как медведь... Что такое?

Остановился, жду. А он, ни слова не говоря, как размахнётся палкой на меня! Я вовремя согнулся, да в живот ему головой; сшиб с ног, сел на груди, палку вырвал, спрашиваю:

- Ты что это? За что?

Он возится подо мной, хрипит:

- Уходи прочь из обители...

- Почему?

- Не могу тебя видеть, убью... Уходи!

Глаза у него красные, и слёзы выступают из них тоже будто красные, а на губах пена кипит. Рвёт он мне одежду, щиплет тело, царапается, всё хочет лицо достать. Я его тиснул легонько, слез с груди и говорю:

- На тебе же чин монашеский лежит, а ты, скот, такую злобу носишь в себе! И - за что?

Сидит он в грязи и настойчиво требует:

- Уйди! Не губи мою душу...

Ничего не понимаю. Потом - догадался, спрашиваю его тихонько:

- Может, ты, Миха, думаешь, что я сказал кому-нибудь о пороке твоём? Напрасно; никому я не говорил, ей-ей!

Встал он, пошатнулся, обнял дерево, глядит на меня из-за ствола дикими глазами и рычит:

- Пусть бы ты всему миру сказал - легче мне! Пред людьми покаюсь, и они простят, а ты, сволочь, хуже всех, - не хочу быть обязан тебе, гордец ты и еретик! Сгинь, да не введёшь меня в кровавый грех!

- Ну, уж это, - мол, - ты сам уходи, коли тебе надо, я - не уйду, так и знай!

А он снова бросился на меня, и упали мы оба в грязь, выпачкались, как лягушки. Оказался я много сильнее его, встал, а он лежит, плачет, несчастный.

- Слушай, Михайла, - говорю. - Я уйду немного погодя, а теперь - не могу! Не из упрямства это, а нужда у меня, надо мне здесь быть!

- Иди к дьяволу, отцу твоему! - стонет он и зубами скрипит.

Отошёл я от него, а через мало дней велено было ему ехать в город на подворье монастырское, и больше не видал я его.

Кончил я послушание и вот - стою одет во всё новое у Антония. С первого дня до последнего помню эту полосу жизни, всю, до слова, как будто она и внутри выжжена и на коже моей вырезана.

Водит он меня по келье своей и спокойно, подробно учит - как, когда и чем должен я служить ему. Одна комната вся шкафами уставлена, и они полны светских и духовных книг.

- Это, - говорит он, - молельня моя!

Посреди комнаты стол большой, у окна кресло мягкое, с одной стороны стола - диван, дорогим ковром покрытый, а перед столом стул с высокой спинкой, кожей обит. Другая комната - спальня его: кровать широкая, шкаф с рясами и бельём, умывальник с большим зеркалом, много щёточек, гребёночек, пузырьков разноцветных, а в стенах третьей комнаты - неприглядной и пустой - два потайные шкафа вделаны: в одном вина стоят и закуски, в другом чайная посуда, печенье, варенье и всякие сладости.

Кончили мы этот обзор, вывел он меня в библиотеку и говорит:

- Садись! Вот как я живу. Не по-монашески, а?

- Да, - мол, - не по уставу.

- Вот ты, - говорит, - осуждаешь всё, будешь и меня осуждать.

И улыбается, точно с колокольни, высокомерно. Очень я его любил за красоту лица, но улыбка эта не нравилась мне.

- Осуждать вас буду ли - не знаю, - мол, - а понять непременно хочу!

Он засмеялся тихо, басовито и обидно.

- Ты ведь незаконнорождённый?

- Да.

- Есть в тебе, - говорит, - хорошая кровь!

- Что такое хорошая кровь? - спрашиваю.

Смеётся и внятно отвечает:

- Хорошая кровь - вещество, из коего образуется гордая душа!

День ясный, в окно солнце смотрит, и сидит Антоний весь в его лучах. Вдруг одна неожиданная мною мысль подняла голову, как змея, и ужалила сердце моё - взныл я весь; словно обожжённый, вскочил со стула, смотрю на монаха. Он тоже привстал; вижу - берёт со стола нож, играет им и спрашивает:

- Что с тобой?

Спрашиваю я его:

- Не вы ли мой отец?

Испортилось лицо у него, стало неподвижно-синеватое, словно изо льда иссечено; полуприкрыл он глаза, и погасли они. Тихо говорит:

- Едва ли! Где родился? Когда? Сколько лет? Кто мать?

И когда рассказал я ему, как бросили на землю меня, улыбнулся он, положил нож на стол.

- В то время и в тех местах не бывал я, - говорит.

Стало мне неловко, тяжело: будто милостыню попросил я, и - не подали.

- Ну, а если бы, - спрашивает, - был я твой отец - что тогда?

- Ничего, - говорю.

- И я так же думаю. Мы с тобою живём, где нет отцов и детей по плоти, но только по духу. А с другой стороны, все мы на земле подкидыши и, значит, братья по несчастью, именуемому - жизнь! Человек есть случайность на земле, знаешь ли ты это?



По глазам его вижу – смеётся он надо мной. Смущён и подавлен я непонятным мне вопросом моим, хочется мне как-то оправдать его или забыть. Но спрашиваю ещё хуже:

– А зачем это вы взяли в руку нож?

Посмотрел на меня Антоний и тихонько смеётся.

– Смелый ты вопросник! – говорит. – Взял и взял, а зачем – не знаю! Люблю его, красив очень.

И подал нож мне. Нож кривой и острый, по стали золотом узор положен, рукоять серебряная, и красный камень врезан в неё.

– Арабский нож, – объясняет мне он. – Я им книги разрезаю, а на ночь под подушку себе кладу. Есть про меня слух, что богат я, а люди вокруг бедно живут, келья же моя в стороне стоит.

От ножа и от руки Антония исходит некий пряный запах, – пьянит он меня, и кружится моя голова.

– Поговорим далее, – продолжает Антоний вечерним, тёмным и мягким басом своим. – Знаешь ты, что женщина бывает у меня?

– Слышал.

– Неправда, что она сестра мне. Я с нею сплю.

Спрашиваю я его:

– Чего ради вы говорите всё это мне?

– А чтобы ты удивился сразу – и перестал удивляться навсегда! Ты книги светские любишь?

– Не читал.

Взял он из шкафа маленькую книжку в красной коже, подал мне и приказал:

– Иди, ставь самовар и читай вот это!

Развернул я книжку, а на первой странице картинка: женщина выше колен оголённая и мужчина пред нею тоже оголяется.

– Я, – говорю, – этого читать не буду.

Тогда он подвинулся ко мне и строго говорит:

– А если твой наставник духовный приказывает тебе? Ты знаешь, зачем это нужно?.. Иди!

В пристройке, где он дал мне место, сел я на кровать свою и застыл в страхе и тоске. Чувствую себя как бы отравленным, ослаб весь и дрожу. Не знаю, что думать; не могу понять, откуда явилась эта мысль, что он – отец мой, – чужая мне мысль, ненужная. Вспоминаю его слова о душе – душа из крови возникает; о человеке – случайность он на земле. Всё это явное еретичество! Вижу его искажённое лицо при вопросе моём. Развернул книгу, рассказывается в ней о каком-то французском кавалере, о дамах... Зачем это мне?

Звонит он, зовёт. Прихожу – встречает ласково.

– Что же самовар?

– Зачем вы мне дали книгу эту?

– Чтобы ты знал, каков есть грех!

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Обрадовался я – показалось мне, что понял намерение его – испытать он хочет меня. Низко поклонясь, ушёл, живо вскипятил самовар, внёс в комнату, а уже Антоний всё приготовил для чая своей рукой и, когда я хотел уйти, сказал:

– Останься, будешь чай пить со мной...

Благодарен я ему, ибо нестерпимо хочется мне понять что-нибудь.

– Расскажи мне, – говорит, – как ты жил и зачем пришёл сюда?

И стал я рассказывать о себе, не скрывая ни одного тайного помысла, ни единой мысли, памятной мне; он же, полуприкрыв глаза, слушает меня так внимательно, что даже чай не пьёт. Сзади его в окно вечер смотрит, на красном небе чёрные сучья деревьев чертят свою повесть, а я свою говорю. А когда я кончил – налил он мне рюмку тёмного и сладкого вина.

– Пей! Я, – говорит, – тебя ещё тогда заметил, как ты в церкви молился вслух. Не помогает монастырь?

– Нет. На вас имею крепкую надежду, помогите мне! Вы – учёный человек, вам всё должно быть известно.

Он тихо говорит, не глядя на меня:

– Мне одно известно: на гору идёшь – до вершины иди, падаешь – падай до дна пропасти. Но сам я этому закону не следую, ибо – я ленив. Ничтожен человек, Матвей, и непонятно, почему он ничтожен? Ибо жизнь прекрасна и мир обольстителен! Сколько удовольствий дано, а – ничтожен человек! Почему? Сия загадка не разгадана.

Ударили к вечерне, вздрогнул он и говорит мне:

– С богом, иди!

Будь я умнее – в тот же день и надо бы мне уйти от него: сохранился бы он для меня как хорошее воспоминание. Но не понял я смысла его слов.

Пришёл к себе, лёг – под боком книжка эта оказалась. Засветил огонь, начал читать из благодарности к наставнику. Читаю, что некий кавалер всё мужей обманывает, по ночам лазит в окна к жёнам их; мужья ловят его, хотят шпагами приколоть, а он бежит. И всё это очень скучно и непонятно мне. То есть я, конечно, понимаю – балуется молодой человек, но не вижу, зачем об этом написано, и не соображу – почему должен я читать подобное пустословие?

И снова думаю: отчего я вдруг заподозрил, что Антоний – отец мне? Разъедает эта мысль душу мою, как ржа железо. Потом заснул я. Во сне чувствую, толкают меня; вскочил, а он стоит надо мной.

– Я, – говорит, – звонил-звонил!

– Простите, – мол, – Христа ради, очень тяжело работал я!

– Знаю.

А "бог простит" – не сказал.

– Я, – говорит, – иду к отцу игумену, приготовь мне всё, как указано. Ага! Ты книгу эту читал? Жаль, что начал; это не для тебя, ты прав был! Тебе другое нужно.

Готовлю я постель: бельё тонкое, одеяло мягкое, всё богато и не видано мной, всё пропитано душистым приторным запахом.

Начал я жить в этом пьяном тумане, как во сне, – ничего, кроме Антония, не вижу, но он сам для меня – весь в тени и двоится в ней. Говорит ласково, а глаза-насмешливы. Имя божие редко произносит, – вместо "бог" говорит "дух", вместо "дьявол" – "природа", но для меня смысл словами не меняется. Монахов и обряды церковные полегоньку вышучивает.

Много он пил вина, но не бывало, чтобы шатался на ногах, – только лоб у него станет синеват, да глаза над прозрачными щеками разгорятся тёмным огнём, а красные губы потемнеют и высохнут. Часто, бывало, придёт он от игумена около полуночи и позднее, разбудит меня, велит подать вина. Сидит, пьёт и глубоким своим голосом говорит непрерывно и долго, – иной раз вплоть до заутрени.

Трудно мне было понимать речи его, и многое позабыл я, но помню сначала пугали они меня, как будто раскрывали некую пропасть и толкали в неё с лица земли всё сущее.

Иногда от таких его речей становилось мне пусто и жутко, и готов я был спросить его:

"А вы не дьявол будете?"

Чёрный он, говорил властно, а когда выпивал, то глаза его становились ещё более двойственны, западая под лоб. Бледное лицо подёргивалось улыбкой; пальцы, тонкие и длинные, всё время быстро щиплют чёрную досиня бороду, сгибаются, разгибаются, и веет от него холодом. Боязно.

Но, как сказано, во дьявола не верил я, да и знал по писанию, что дьявол силён гордостью своей; он – всегда борется, страсть у него есть и умение соблазнять людей, а отец-то Антоний ничем не соблазняет меня. Жизнь одевал он в серое, показывал мне её бессмысленной; люди для него – стадо бешеных свиней, с разной быстротой бегущих к пропасти.

– Вы, – мол, – говорили, что жизнь-то прекрасна!

– Да, если она признаёт меня, она прекрасна, – отвечает он и усмехается.

Только эта усмешка и оставалась у меня от его речей. Точно он на всё из-за угла смотрел, кем-то изгнанный отовсюду и даже не очень обижаясь, что изгнали. Остра и догадлива была его мысль, гибка, как змея, но бессильна покорить меня, – не верил я ей, хотя иной раз восхищался ловкостью её, высокими прыжками разума человеческого.

Впрочем, порою – хоть и редко – сердился он.

– Я, – кричит, – дворянин, потомок великого рода людей; деды и прадеды мои Русь строили, исторические лица, а этот хам обрывает слова мои, этот вшивый хам, а?!.

Такие речи не интересны были мне – я, может, и сам тоже знаменитейшей фамилии, да ведь не в прадеде сила, а в правде, и вчера – уже не воротится, тогда как завтра – наверное – будет!

А то сидит в кресле своём, без крови на лице, и рассказывает:

– Опять, Матвей, обыграли меня эти монахи. Что есть монах? Человек, который хочет спрятать от людей мерзость свою, боясь силы её. Или же человек, удручённый слабостью своей и в страхе бегущий мира, дабы мир не пожрал его. Это суть лучшие монахи, интереснейшие, все же другие – просто бесприютные люди, прах земли, мертворождённые дети её.

– А вы, – говорю, -- кто среди них?

Может быть, я его десять раз и больше так вот в упор спрашивал, но он отвечал мне всегда в таком роде:

– А ты – случайный человек и здесь, и везде, и всегда!

И бог его был для меня тайной. Старался я допросить его о боге, когда он трезвый был, но он, усмехаясь, отвечал мне знакомыми словами писания, бог же для меня был выше писания. Тогда стал я спрашивать у пьяного, как он видит бога?

Но и пьяный Антоний крепок был.

– А хитёр ты, Матвей! – говорит. – Хитёр и упрям! Жаль мне тебя!

И я тоже стал жалеть его, ибо видел его одиночество, ценил обилие всяких мыслей в нём, и жалко было, что зря пропадают они в келье.

Но, жалея, всё упорнее наседаю на него, и однажды он нехотя сказал:

- Но я, как и ты, Матвей, - не вижу бога!

- Я, - мол, - хоть не вижу, но чувствую, и не о бытии его спрашиваю, а - как понять законы, по коим строится им жизнь?

- Законы, - говорит, - в номоканоне смотри! А если чувствуешь бога, то - поздравляю тебя!

Налил стакан вина мне, чокнулся со мной и выпил; вижу я, что хотя лицо у него серьёзное, как у мёртвого, но глаза красивого барина смеются надо мной.

То, что он барин, стало покрывать собою моё влечение к нему, ибо он уже несколько раз так развёртывал барство, что кровно обижал меня.

Пьяненький любил он про женщин говорить.

- Природа, дескать, берёт нас в злой и тяжкий плен через женщину, сладчайшую приманку свою, и не будь плотского влечения, кое поглощает собою лучшие силы духа человеческого, - может, человек и бессмертия достиг бы!

Но так как брат Миха гораздо гуще об этом деле говорил, то я уже был насыщен отвращением к таким мыслям; притом же Михайла отрицал женщину со злобой, поносил её яростно, а отец Антоний рассуждал бесчувственно и скучно.

- Помнишь, - говорит, - я тебе книжку давал? Читая её, должен был ты видеть, сколь женщина хитра и лжива и развратна в существе своём!

Странно и противно слышать, когда человек, рождённый женщиной и соками её вспоённый, грязнит, попирает мать свою, отрицая за нею всё, кроме похоти, низводит её до скотины бессмысленной.

Однажды я сказал ему нечто в этом смысле, только - глаже, не столь прямо. Освирепел он, закричал:

- Идиот! Разве я о матери говорю!

- Всякая, - мол, - женщина есть мать.

- Иная, - кричит, - только распутница всю жизнь!

- Некоторые люди горбаты живут, но для всех горб - не закон.

- Ступай вон, дурак!

Офицер-то не помер в нём.

Несколько раз сшибался я с ним голова в голову, спрашивая о господе; стали меня злить увёртливые смешки его, и как-то в ночь пустил я себя на него со всей силой.

Характер у меня скверный сделался тогда; большую тоску я испытывал; хожу вокруг Антония, как голодный около чулана запертого, - хлебом пахнет за дверью, - и от этого звереть я стал, а в ту ночь сильно он разжёт недомолвками своими.

Взял я нож со стола и говорю:

- Расскажите мне всё, как думаете, а то вот - полосну себя по горлу, скандал сделаю вам!

Встревожился он, цапнул меня за руку, вырвал нож и засуетился - не похоже на себя.

- Нужно, - говорит, - наказать тебя за это, но фанатику и наказание не впрок!

А потом говорит, точно гвозди в голову мне бьёт:

- Я тебе вот что скажу: существует только человек, всё же прочее есть мнение. Бог же твой - сон твоей души. Знать ты можешь только себя, да и то - не наверное.

Покачивают слова его, как ветром, и опустошают меня. Говорил он долго, понятно и нет, и чувствую я: нет в этом человеке ни скорби, ни радости, ни страха, ни обиды, ни гордости. Точно старый кладбищенский поп панихиду поёт над могилой: все слова хорошо знает, но души его не трогают они. Сначала-то страшной показалась мне его речь, но потом догадался я, что неподвижны сомнения его, ибо мертвы они...

Май, окно открыто... ночь в саду тепло цветами дышит... яблони - как девушки к причастию идут, голубые в серебре луны. Сторож часы бьёт, и кричит в тишине медь, обиженная ударами, а человек предо мной сидит с ледяным лицом и спокойно плетёт бескровную речь; вьются серые, как пепел, слова, обидно и грустно мне - вижу фольгу вместо золота.

- Уходи! - говорит мне Антоний.

Вышел я в сад, а к заутрене ударили; пошёл в церковь, выбрал тёмный уголок, стою и думаю:

"Да и зачем полумёртвому бог?"

Сходится братия, - словно лунный свет изломал на куски тьму ночи, и с тихим шорохом прячутся они во храме.

С той поры началось что-то, непонятное мне: говорит со мной Антоний барином, сухо, хмурится и к себе не зовёт. Книги, которые дал мне читать, все отобрал. Одна из книг была русская история - очень удивляла она меня, но дочитать её не успел я. Соображаю, чем бы я мог обидеть барина моего, не вижу.

А начало его речи осело в памяти моей и тихонько живёт там поверх всего, ничему не мешая.

"Бог есть сон твоей души", - повторяю я про себя, но спорить с этим нужды не чувствую - лёгкая мысль.

Вскоре явилась и дама его; было это поздно ночью. Слышу, звонит Антоний и кричит:

- Живо, самовар!

А когда я подал самовар, вижу, сидит на диване женщина в розовом широком платье, белокурые волосы по плечам распущены; маленькая, точно кукла, лицо тоже розовое, глаза голубые; скромной и грустной показалась мне она.

Ставлю я посуду на стол, Антоний торопит:

- Скорей возись, скорей!

"Ишь ты, - думаю, - воспылал!"

Дело это любовное понравилось мне; то есть приятно было видеть Антония хоть на любовь - дело немудрое - способным. Сам-то я в ту пору холоден к этому был, да и монашеское распутство отвращало в сторону, ну, а отец Антоний - какой же монах?.. Женщина его, по-своему, красива - свеженькая такая, словно новая игрушка.

Наутро прихожу комнаты убирать, его нет, к игумену пошёл, а она сидит на диване с книжкой в руках, ноги поджав, нечёсаная, полуодетая. Спросила, как зовут, - сказал; давно ли в монастыре, - сказал.

- Не скучно?

- Нет, - мол.
- Странно, если правда!
- Почему, - говорю, - не правда?
- Такой ты молодой, красивый!
- А разве монастырь - для уродов?

Засмеялась она и голую ногу одну спустила с дивана. Разглядывает меня и немножко неладно ведёт себя: руки голыми до плеч показывает, платье на груди не застёгнуто.

"Это ты напрасно делаешь, - думаю, - наготу надо для милого беречь!"

А она, дурочка, спрашивает:

- Неужели тебя женщины не смущают?
- Я, - мол, - их не вижу, да и чем же они могут смущать?
- Как - чем? - и хохочет. - Как это - чем?

А в двери Антоний стоит и сердито спрашивает:

- Что такое, Зоя? А?
- Ах, - кричит она, - он такой забавный, этот!

И защebetала, защebetала, рассказывая, какой я забавный. Но Антоний, не слушая её, сурово приказывает мне:

- Ступай, разбери там кульки и ящики, потом нужно часть игумену снести!

Ещё за обедом в тот день оба они довольно выпили, а вечером после чаю женщина эта уж совсем пьяная была, да и Антоний, видимо, опьянел больше, чем всегда. Гоняет меня из угла в угол - то подай, это принеси, вино согрей да остуди. Бегаю, как лакей в трактире, а они всё меньше стесняются со мной, - барышне-то жарко, и она понемногу раздевается, а барин вдруг спрашивает меня:

- Матвей, она красивая?
- Ничего, - мол.
- Нет, ты погляди хорошенько!

А она хохочет, пьяненькая.

Я хочу уйти, но Антоний свирепо кричит:

- Куда? Стой! Зойка, покажись ему голая...

Думал я, что ослышался, но она сорвала с себя какой-то халатик и встала на ноги, покачиваясь. Смотрю на Антония; он - на меня... Сердце моё нехорошо стучит, и барина этого несколько жаль: свинство как будто не к лицу ему, и за женщину стыдно.

И вот он кричит:

- Ступай вон, ты, хам!

Я ему откликнулся:

- Ты сам!

Вскочил он, бутылки со стола повалились, посуда дребезжит, и что-то полилось

Исповедь. Максим Горький gorkiyamaxim.ru  
торопливо, печальным ручьём. Вышел я в сад, лёг. Ноет сердце моё, как  
простуженная кость. Тихо, и слышу я крики Антония:

- Вон!

А женщина визгливо отвечает:

- Не смей, дурак!

Потом лошадей на дворе запрягали, и они, недовольно фыркая, гулко били копытами  
о сухую землю. Хлопали двери, шуршали колеса коляски, и скрипели ворота ограды.  
Ходил по саду Антоний и негромко взывал:

- Матвей! Ты где?

Вот его высокое тело в чёрном двигается между яблонями, хватаясь руками за  
ветви, и бормочет:

- Ду-урак... эй!

И тащится, вьётся по земле густая тяжёлая тень за ним.

Пролежал я в саду до утра, а утром явился к отцу Исидору.

- Отдайте-ка паспорт мой, ухожу я!

Удивился, даже подпрыгнул.

- Почему? Куда?

- По земле, но не знаю - куда, - говорю.

Он допрашивает.

- Я, - мол, - ничего не буду объяснять.

Вышел из кельи его, сел около неё на скамью под старой сосной нарочно тут сел,  
ибо на этой скамье выгоняемые и уходившие из обители как бы для объявления  
торчали. Ходит мимо братия, косится на меня, иные отплёвываются: забыл я  
сказать, что был пущен слух, якобы Антоний-то в любовники взял меня; послушники  
мне завидовали, а монаси барину моему, - ну и клеветали на обоих.

Ходит братия, поговаривает:

- Ага, выгнали и этого, слава тебе, господи!

Отец Асаф, хитренький и злобненький старичок, шпион игумена, должность Христа  
ради юродивого исполнявший в обители, начал поносить меня гнуснейшими словами,  
так что я даже сказал ему:

- Уйди, старик, а то я тебя за ухо возьму и сам прочь отведу!

Он хотя и блажен муж был, но слова мои понял. Потребовал меня глава обители и  
ласково говорит:

- Намакал я тебе, Матвей, сыне мой, что было бы лучше, если б ты в контору  
пошёл, и - был я прав! И так всегда старшие! Разве, при строптивости твоей,  
можно выдержать послушание келейника? Вот ты скверно изругал почтенного отца  
Антония...

- Это он вам сказал?

- А кто же? Ты ещё не говорил.

- А сказал он, как показывал мне голую женщину?

Отец игумен с благочестивым страхом перекрестил меня и говорит, махая руками:

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Что ты, что ты, господь с тобой! Какая женщина? Это, не иначе, видение твоё, плотью, дьяволом искушаемой, созданное! Ай-ай-ай! Ты подумал бы - откуда в мужском-то монастыре женщина?

Захотелось мне успокоить его.

- А кто же, - говорю, - портвейн, сыр да икру вчера вам привёз?

Ещё больше удивляется он:

- Что ты, спаси тебя Христос! Как это выдумал столь неподобное?

Противно. И можно с ума сойти.

Около полудня переехал я через озеро, сел на берегу, смотрю на монастырь, где с лишком два года трудовую лямку тёр.

Размахнул лес зелёные крылья и показывает обитель на груди своей. На пышной зелени ярко вытканы зубчатые белые стены, синие главы старой церкви, золотой купол нового храма, полосы красных крыш; лучисто и призывно горят кресты, а над ними - голубой колокол небес, звонит радостным гомоном весны, и солнце ликует победы свои.

В этой красоте, волнующей душу восторгом живым, спрятались чёрные люди в длинных одеждах и гниют там, проживая пустые дни без любви, без радостей, в бессмысленном труде и в грязи.

Жалко мне стало всех и себя тоже - едва не заплакал. Встал и пошёл.

Дышит ароматами, поёт вся земля и всё живое её; солнце растит цветы на полях, поднимаются они к небу, кланяясь солнцу; молодая зелень деревьев шепчет и колыхается; птицы щебечут, любовь везде горит - тучна земля и пьяна силою своей!

Встречу мужика - поздороваюсь, а он мне едва головой кивнёт, бабу встречу - сторонится. А мне охота говорить с людьми, и говорил бы я с ними ласково.

Первую ночь свободы моей в лесу ночевал; долго лежал, глядя в небо, пел тихонько - и заснул. Утром рано проснулся от холода и снова иду, как на крыльях, встречу всей жизни. Каждый шаг всё дальше тянет, и готов бегом бежать вдаль.

А народ при встрече косится на меня: обрыдла, противна и враждебна мужикам чёрная одежда захребетников. А снять мне её нельзя: паспорт мой просрочен, но игумен надпись сделал на нём, удостоверил, что я послушник Савватеевской обители и ушёл для посещения святых мест.

И вот направился я по сим местам, вместе с тем самым бродячим народом, который и нашу обитель сотнями наполнял по праздникам. Братия относилась к нему безучастно или враждебно - дескать, дармоеды - старалась обобрать у них все пятаки, загоняла на монастырские работы и, всячески выжимая сок из этих людей, пренебрегала ими. Я же, занятый своим делом, мало встречался с пришлыми людьми, да и не искал встреч, считая себя человеком особенным в намерениях своих и внутренне ставя образ свой превыше всех.

Вижу: по всем дорогам и тропам тянутся, качаясь, серые фигуры с котомками за спиной, с посохами в руках; идут не торопясь, но споро, низко наклоня головы; идут кроткие, задумчивые и доверчиво открытые сердцем. Стекаются в одно место, посмотрят, молча помолются, поработают; есть какой-нибудь праведник, - поговорят с ним тихонько о чём-то и снова растекутся по дорогам, бодро шагая до другого места.

Идут, - идут старые и молодые, женщины и дети, словно всех один голос позвал, и чувствую я в этом прохождении земли насквозь по всем её путям некую силу, - захватывает она меня, тревожит, словно обещает что-то открыть душе. Странно мне это беспокойное и покорное хождение после неподвижной жизни моей.

Как будто сама земля отрывает человека от груди своей и, отталкивая, повелительно внушает ему:



- Иди, спроси, узнай!

Послушно ходит человек; ищет, смотрит, чутко прислушивается и снова идёт, идёт. Гудит под ногами искателей земля и толкает их дальше – через реки, горы, леса и моря, – ещё дальше, всюду, где уединённо обитатели стоят, обещая чудеса, всюду, где дышит надежда на что-то иное, чем эта горькая, трудная, тесная жизнь.

Поразило меня тихое смятение одиноких душ и очеловечило; начал я вникать – чего ищут люди? И стало мне казаться всё вокруг потревоженным, пошатнувшимся, как сам я.

Многие, – как и я, – ищут бога и не знают уже, куда идти; рассеяли всю душу на путях исканий своих и уже ходят только потому, что не имеют сил остановить себя; носятся, как перья луковиц по ветру, лёгкие и бесполезные.

Эти – лени своей побороть не могут и носят её на плечах своих, унижаясь и живя ложью; те же – охвачены желанием всё видеть, но нет у них сил что-либо полюбить.

Вижу ещё много пустого народа и грязных жуликов, бесстыдных дармоедов, жадных, как воши, – много вижу, – но всё это только пыль позади толпы людей, охваченных тревогой богоискания.

И неудержимо влечёт меня за собой эта толпа.

А вокруг её, словно чайки над рекой, крикливо и жадно мечутся разнообразно окрылённые человеки, поражая уродством своим.

Однажды на Белоозере вижу человека средних лет, весьма бойкого; должно быть – зажиточен, одет чисто.

Расположился в тени под деревьями; около него тряпки, банка мази какой-то, таз медный, – и покрикивает он, этот человек:

- Православные! У кого ноги до язв натружены – подходи: вылечу! Даром лечу, по обету, принятому на себя, ради господа!

Храмовой праздник в Белоозере, богомолы со всех сторон дождём идут; подходят к нему, садятся, развязывают онучи, он им ноги моет, смазывает раны, поучает:

- Эх, брат, а и неразумен ты! У тебя лапоть не по ноге велик – разве можно в таком ходить!

Человек в большом лапте тихо отвечает:

- Мне и этот Христа ради подали!

- Тот, кто подал, – он богу угодил, а что ты в таком лапте шёл, это глупость твоя, не подвиг, и господом не зачтётся тебе!

"Вот, – думаю, – хорошо знает человек божьи обороты!"

Подходит к нему женщина, прихрамывая.

- Ай, молодка! – кричит он. – Это не мозоль у тебя, а пожалуй, французская болезнь! Это, православные, заразная болезнь, целые семьи погибают от неё, прилипчива она!

Бабёнка сконфузилась, встала, идёт прочь, опустив глаза, а он заывает:

- Подходи, православные, во имя святого Кирилла!

Подходят люди, разуваются, покряхтывая, он им моет ноги, а они говорят ему:

- Спаси тебя Христос!

Но вижу я, что его благообразное лицо судороги подёргивают и руки человека трясутся. Скоро он прикрыл лавочку благочестия своего, быстро убежав куда-то.

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

На ночь отвёл меня монашек в сарай, вижу – и этот человек там же; лёг я рядом с ним и начал тихий разговор:

– Что это вы, почтенный, вместе с чёрными людьми ночуете? Судя по одежде вашей, место ваше – в гостинице.

– А мною, – отвечает, – обет такой дан: быть среди последних последним на три месяца целых! Желаю подвиг богомольческий совершить вполне, – пусть вместе со всеми и вошь меня ест! Ещё то ли я делаю! Я вот ран видеть не могу, тошнит меня, а – сколь ни противно – каждый день ноги странникам мою! Трудна служба господу, велика надежда на милость его!

Потерял я охоту разговаривать с ним, притворился, будто заснул, лежу и думаю:

"Не тучна его жертва богу своему!"

Зашуршало сено под соседом, встал он осторожно на колени и молится, сначала безмолвно, а потом слышу я шёпот:

– Ты же, святителю Кирилле, предстань господу за грешника, да уврачует господь язвы и вереды мои, яко же и я врачую язвы людей! Господи всевидящий, оцени труды мои и помилуй меня! Жизнь моя – в руке твоей; знаю – неистов быша аз во страстех, но уже довольно наказан тобою; не отринь, яко пса, и да не отженут мя люди твои, молю тя, и да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою!

Тут – человек бога с лекарем спутал, – нестерпимо противно мне. Зажал уши пальцами.

А когда отмолился он, то вынул из сумы своей еду и долго чавкал, подобно борову.

Множество я видел таких людей. Ночами они ползают перед богом своим, а днём безжалостно ходят по грудям людей. Низвели бога на должность укрывателя мерзостей своих, подкупают его и торгуются с ним:

– Не забудь, господи, сколько дал я тебе!

Слепые рабы жадности своей, возносят они её выше себя, поклоняются безобразному идолу тёмной и трусливой души своей и молятся ему:

– Господи! да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеш мене!

Ходят, ходят по земле, как шпионы бога своего и судьи людей; зорко видят все нарушения правил церковных, суется и мечутся, обличают и жалуются:

– Гаснет вера в людях, увы нам!

Один мужчина особенно смешил меня ревностью своей. Шли мы с ним из Переяславля в Ростов, и всю дорогу он кричал на меня:

– Где святой устав Фёдора Студита?

Человек он был сытый, здоровый, чернобород и румян, деньжонки имел и на ночлегах с бабами путался.

– Я, – говорит, – видя разрушение закона и разврат людской, душевного покоя лишился; дело моё – кирпичный завод – бросил на руки сыновьям, и вот уже четыре года хожу, наблюдая везде, – ужас обуревают душу мне! Завелись мыши в ризнице духовной, и распадаются под зубами их крепкие ризы закона, озлобляется народ против церкви, отпадает от груди её в мерзостные ереси и секты, – а что против этого делает церковь, бога ради воинствующая? Приумножает имущество и растит врагов! Церковь должна жить в нищете, яко бедный Лазарь, дабы народишко-то видел, что воистину священна есть нищета, заповеданная Христом; видел бы он это и не рыпался, не лез бы на чужое-то имущество! Какая иная задача у церкви? Держи народишко в крепкой узде эко!

Мыслей своих законники эти, видя непрочность закона, скрывать не умеют и бесстыдно выдают тайное своё.

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

На Святых горах купец один – знаменитый путешественник, описывающий хождения свои по святым местам в духовных журналах, – проповедовал народу странному смирение, терпение и кротость.

Горячо говорил, даже до слёз. И умоляет и грозит, народ же слушает его молча, опустив головы.

Ввязался я в речь его, спрашиваю:

– А ежели явное беззаконие – тоже терпеть его?

– Терпи, милый! – кричит он. – Обязательно терпи! Сам Исус Христос терпел, нас и нашего спасения ради!

– А как же, – мол, – мученики и отцы церкви, Ивану Златоусту подобные, – не стеснялись они, но обличали даже царей?

Ошалел он, просто неестественно загорелся, ногами топает на меня.

– Что болтаешь, смутьян! Кого обличали-то? Язычников!

– Разве, – мол, – царица-то Евдоксия – язычница? А Иван Грозный?

– Не про то речь! – кричит он и машет руками, как доброволец на пожаре. – Не о царях говори, а о народе! Народ – главное! Суемудрствует, страха в нём нет! Зверь он, церковь укрощать его должна – вот её дело!

Но хотя и просто говорил он, а – не понимал я в то время этой заботы о народе, хотя ясно чувствовал в ней некий страх; не понимал, ибо – духовно слеп – народа не видел.

После спора с этим писателем подошло ко мне несколько человек и говорят, как бы ничего доброго не ожидая от меня:

– Есть тут один паренёк, – не желаешь ли с ним потолковать?

И во время вечерни устроили мне на озере в лесу собеседование с неким юношей. Был он тёмный какой-то, словно молнией опалённый; волосы коротко острижены, сухи и жестки; лицо – одни кости, и между ними жарко горят карие глаза: кашляет парень непрерывно и весь трепещет. Смотрит он на меня явно враждебно и, задыхаясь, говорит:

– Сказали мне про тебя люди сии, что отрицаешь ты терпение и кротость. Чего ради, объясни?

Не помню, что я тогда говорил и как спорил с ним; помню только его измученное лицо и умирающий голос, когда он кричал мне:

– Не для сей жизни мы, но – для будущей! Небо наша родина, ты это слышал?

Выдвинулся против него солдат хромой, потерявший ногу в текинской войне, и говорит сурово:

– Моё слово, православные люди, таково: где меньше страха, там и больше правды!

И, обращаясь к юноше, сказал:

– Коли тебе страшно перед смертью – это твоё дело, но других – не пугай! Мы и без тебя напуганы довольно! А ты, рыжеватый, говори!

Он скоро исчез, юноша этот, а народ же – человек с полсотни – остался, слушают меня. Не знаю, чем я мог в ту пору внимание к себе привлечь, но было мне приятно, что слушают меня, и говорил я долго, в сумраке, среди высоких сосен и серьёзных людей.

И тогда, помню, слились для меня все лица в одно большое грустное лицо; задумчиво оно и упрямо показалось мне, на словах – немотно, но в тайных мыслях – дерзко, и в сотне глаз его – видел я – неугасимо горит огонь, как бы родной душе

моей.

Но потом стёрлось это единое лицо многих из памяти моей, и только долгое время спустя понял я, что именно сосредоточенная на одной мысли воля народа возбуждает в хранителях закона заботы о нём и страх пред ним. Пусть ещё не народилась эта мысль и неуловима она, но уже оплодотворён дух сомнением в незыблемости враждебного закона – вот откуда тревога законников! Видят они этот упрямо спрашивающий взгляд; видят – ходит народ по земле тих и нем, – и уже чувствуют незримые лучи мысли его, понимают, что тайный огонь безмолвных дум превращает в пепел законы их и что возможен – возможен! – иной закон!

Чувствуют они это тонко, как воры сторожкое движение просыпающегося хозяина, дом которого грабили в ночи, и знают они, что, если народ откроет глаза, перевернётся жизнь вверх лицом к небесам.

Нет бога у людей, пока они живут рассеянно и во вражде. Да и зачем он, бог живой, сытому? Сытый ищет только оправдания полноты желудка своего в общем голоде людей. Смешна и жалка его жизнь, одинокая и отовсюду окружённая веянием ужасов.

Вот – замечаю я: наблюдает за мною некий старичок – седенький, маленький и чистый, как голая кость. Глаза у него углублённые, словно чего-то устрашились; сух он весь, но крепок, подобно козлёнку, и быстр на ногах. Всегда жмётся к людям, залезает в толпу, – бочком живёт, – и заглядывает в лица людей, точно ищет знакомого. Хочется ему чего-то от меня, а не смеет спросить, и жалка мне стала эта робость его.

Иду я в Лубны, к Афанасию Сидящему, а он, белой палочкой шаг размеривая, бесшумно стелется по дороге вслед за мной.

Спрашиваю:

– Давно странствуешь, дедушка?

Обрадовался он, вскинул голову, хихикает.

– Девять лет уж, милый, девять лет!

– Али, – мол, – велик грех несёшь?.

– Где, – говорит, – вес-мера греху установлена? Один господь знает мои грехи!

– А всё-таки что наделал?

Смеюсь я, и он улыбается.

– Да будто ничего! Жил вообще, как все. Сибирский я, из-под Тобольска, ямщиком в молодости был, а после двор постоялый держал, трактир тоже... лавка была...

– Ограбил, что ли, кого?

Испугался дед.

– Зачем? От этого бог спас... что ты!

– Я, – мол, – шучу. Вижу – идёт маленький человек, думаю – куда ему большой грех сделать!

Приосанился старичок, тряхнул головкой.

– Душа-то, чай, у всех одной величины, – говорит, – и одинаково дьяволу любезна! А скажи мне, как ты о смерти думаешь? Вот ты на ночлеге говорил всё: "жизнь, жизнь", а где же смерть?

– Тут, – мол, – где-нибудь!

Погрозил он мне пальцем смешно таково и говорит:

- То-то и есть! Всегда она тут, да!

- Ну, так что?

- А - то!

И, поднимаясь на цыпочки, почти шепчет мне в ухо:

- Она - всеильна ведь! Сам Исус Христос не избёг. Пронеси, говорит, мимо чашу эту, а отец его небесный - не пронёс, не мог однако! Сказано: смертушка придёт - и солнышко умрёт, да!

Разговорился мой старичок, словно ручей с горы побежал:

- Надо всем она веет, а человек вроде как по жёрдочке над пропастью идёт; она крылом мах! - и человека нет нигде! О, господи! "Силою твоею да укрепится мир", - а как ему укрепиться, ежели смерть поставлена превыше всего? Ты и разумом смел, и книг много съел, а живёшь, пока цел, да!

Смеётся он, а на глазах у него - слёзы!

Что я ему объясню? Никогда я о смерти не думал, да и теперь мне некогда.

А он подпрыгивает, заглядывая в лицо моё побелевшими глазами, бородёнка у него трясётся, левую руку за пазуху спрятал, и всё оглядывается, словно ждёт, что смерть из-за куста схватит за руку его, да и метнёт во ад. Вокруг - жизнь кипит: земля покрыта изумрудной пеной трав, невидимые жаворонки поют, и всё растёт к солнцу в разноцветных ярких криках радости.

- Как, - мол, - ты дошёл до таких мыслей? - спрашиваю попутчика. Хворал, что ли, сильно?

- Нет, - говорит, - я до сорока семи лет спокойно и довольно жил! А тут у меня жена померла и сноха удавилась, - обе в один год пропали!

- А ты не сам ли, - мол, - сноху-то в петлю загнал?

- Нет, - говорит, - это она от распутства! Я её не трогал, нет! Да ежели бы и жил я с ней - это вдовому прощается: я - не поп, а она - не чужая мне! А я и при жене как вдовый жил: четыре года хворала жена-то у меня, с печи не слезая; умерла - так я даже перекрестился... слава богу свободен! Ещё раз жениться хотел и вдруг задумался: живу - хорошо, всем доволен, а надо умирать; это зачем же? Смутился! Сдал всё сыну и - пошёл вот! На ходу-то, думаю, не так заметно, что к могиле идёшь, - пестро всё, мелькает и как будто в сторону манит от кладбища. Однако - всё равно!

Спрашиваю я его:

- Тяжело тебе, дед?

- Ой, милый, так-то ли страшно - и сказать не могу! Днём стараюсь на людях держаться, - всё как будто и загородишься ими, смерть - слепа, авось не разглядит меня или ошибётся, другого возьмёт! А вот ночью, когда всякий остаётся ничем не скрыт, жутко безо сна лежать! Так тебе и кажется - веет над тобою чёрная рука, касается груди, ищет - тут ли ты? Играет сердцем, как кошка мышью, а оно боится, а оно трепыхается... ой! Приподнимешься, оглянешься - вокруг люди лежат, а встанут ли - неизвестно! Это бывает, она и гуртом берёт: у нас в селе целое семейство - муж, жена и две девоньки - в бане от угара померли!

Губы у него трясутся, будто он улыбается, а из глаз мелкие слёзы текут.

- Ещё кабы в одночасье скончаться али - во сне, а как нападёт болезнь, да и начнёт понемножку грызть!

Сморщился он, съёжился, стал на плесень похож; бежит, подпрыгивает, глаза погасли, и тихонько бормочет не то мне, не то себе:

- Господи! Хоть бы комариком пожить на земле! Не убий, господи! Хоть бы клопиком

али малым паучком!

"Эх ты, жалость!" – думаю.

А на привале, на людях, – ожил и сейчас же опять о своей хозяйке – о смерти – заговорил, бойко таково. Убеждает людей: умрёте, дескать, исчезнете в неизвестный вам день, в неведомый час, – может быть, через три версты от этого места громом убуёт.

На иных – тоску наводит, другие – сердятся, ругают его, а одна бабочка молодая заметила:

– Туга мошна, вот и смерть тошна!

И так зло сказала она это, что заметил я её, а старичок, смерти преданный, осёкся.

Всю дорогу до Лубен утешал он меня и, воистину, до смерти надоел! Много видел я таких, кои от смерти бегают, глупо играя в прятки с ней. Удручённые страхом и среди молодых есть – эти ещё гаже стариков, и все они, конечно, безбожники. В душе у них, как в печной трубе, черно, и всегда страх там посвистывает, – даже и в тихую погоду свистит. Мысли их подобны старым богомолкам: топчутся по земле, идут, не зная куда, попирают слепо живое на пути, имя божие помнят, но любви к нему не имеют и ничего не могут хотеть. Только разве одно их занимает: внушить бы свой страх людям, чтобы люди приняли и приласкали их, нищих.

Но они подходят к людям не затем, что жаждут вкусить мёда, а чтобы излить в чужую душу гнилой яд тления своего. Самолюбы они и великие бесстыдники в ничтожестве своём; подобны они тем нищим уродам, кои во время крестных ходов по краям дорог сидят, обнажая пред людьми раны и язвы и уродства свои, чтобы, возбуждив жалость, медную копейку получить.

Ходят они, пытаются всюду посеять тёмные семена смятения, стонут и желают услышать ответный стон, а вокруг их вздымается могучий вал скромных богоискателей и разноцветно пылает горе человеческое.

Вот хоть бы молодка эта, хохлушка, что заметила старику насчёт тугой мошны. Молчит, зубы сжаты, тёмное от загара лицо её сердито и в глазах острый гнев. Спросишь её о чём-нибудь – отвечает резко, точно ножом ткнёт.

– Ты бы, милая, – говорю, – не чуралась меня, а сказала бы горе-то... Может, легче будет тебе!

– Что вы хотите от меня?

– Да ничего не хочу, не бойся!

Вспыхнула она:

– Я и не боюсь, а противно мне!

– Чем же я противен?

– А что пристаёте? Я народ покричу!

И так она всех брыкает – старых, молодых и женщин тоже.

– Ты мне не нужна, – говорю, – а нужно мне горе твоё, хочу я знать всё, чем люди мучаются.

Сбоку поглядела на меня и отвечает:

– До других идите! Все бедуют, будь они прокляты!

– За что же проклинать?

– А так я хочу!

Кажется она мне похожей на кликушу.

- За кого же ты молиться идёшь? - говорю.

Усмехнулась она всем лицом, пошла тише и говорит, как будто не мне:

- Прошлой весной муж на Днепр ушёл, дрова сплавлять, и - пропал! Может - утонул, может - другую жену нашёл, кто знает? Свёкор и свекровь - люди бедные, злые. Двое деток у меня - мальчик да девочка, - чем мне их кормить? Я же работала, переломиться готова была, а нет работы, да и что баба может выработать? Свёкор ругает: "Ты нам с детьми твоими камень на шею, объела ты нас, опила!" А свекровь уговаривает: "Ты же молодая, иди по монастырям, монахи до баб жадные, много денег наберёшь". Не могу я терпеть голода деток, - вот, хожу! Утопить их, что ли? Вот и хожу!

Говорит, как во сне, сквозь зубы, невнятно, а глаза у неё кричат болью материнской.

- Сыночку уже четвёртый год. Осипом зовут, а дочь Ганкой. Била я их, когда они хлеба просили, била! Я месяц хожу - четыре рубля набрала. Монахи - жадные. Честно - больше заработала бы! О, дьяволы, дьяволы! Какую водой отмою себя?

Надо что-нибудь сказать ей, я и говорю:

- Ради детей - бог тебя простит!

Как она взвояет!

- А что мне в том? Не виновата я богу! Не простит - не надо; простит сама не забуду, да! В аду - не хуже! Там детей не будет со мной!

"Эх, - думаю, - напрасно я её растравил!"

А она уже и остановиться не может.

- Да и нет его - бога для бедных - нет! Когда мы за Зелёный Клин, на Амур-реку, собирались - как молебны служили, и просили, и плакали о помощи, - помог он нам? Маялись там три года, и которые не погибли от лихорадки, воротились нищие. И батька мой помер, а матери по дороге туда колесом ногу сломало, братья оба в Сибири потерялись...

И лицо у неё окаменело. Хотя и суровая она, а такая серьёзная, красивая, глаза тёмные, волосы густые. Всю ночь до утра говорили мы с ней, сидя на опушке леса сзади железнодорожной будки, и вижу я - всё сердце у человека выгорело, даже и плакать не может; только когда детские годы свои вспоминала, то улыбнулась неохотно раза два, и глаза её мягче стали.

Думаю под речь её:

"Зарежет она, убьёт кого-нибудь! Или жестокой блудницей станет - нет ей оборота никуда!"

- Бога не вижу и людей не люблю! - говорит. - Какие это люди, если друг другу помочь не могут? Люди! Против сильного - овцы, против слабого волки! Но и волки стаями живут, а люди - все врозь и друг другу враги! Ой, много я видела и вижу, погибнуть бы всем! Родят деток, а растить не могут хорошо это? Я вот - била своих, когда они хлеба просили, била!

А наутро пошла она в сторону от меня - продавать своё тело монахам и, уходя, молвила злобно:

- Что же ты, - вместе спали и сильнее ты меня, что же не попользовался даровым-то мясцом? Эх ты!

Точно по щекам хлещет! Я говорю ей:

- Напрасно ты обидела меня!

Потупилась она, а потом сказала:

– Хочется обидеть человека, хочется даже и невиноватого! Вон ты молодой ещё, а высох весь, и уже седые виски, – понимаю, что и ты горе носишь... А мне – всё равно! Никого не жалко. Прощай!

Ушла.

За шесть лет странствований моих много видел я людей, озлобленных горем: тлеет в них неугасимая ненависть ко всему, и, кроме зла, ничего не могут они видеть. Видят злое и, словно в жаркой бане, парятся в нём; как пьяницы вино – пьют желчь и хохочут, торжествуют:

– Наша правда: всюду зло, везде несчастье, нет места человеку вне его!

Впадают в дикое отчаяние и, воспалённые им, развратничают и всячески грязнят землю, как бы мстя ей за то, что родила она их и должны они, рабы слабости своей, до дня смерти ползать бессильно по дорогам земли.

Возносят они горе до высоты бога своего и поклоняются ему, не желая видеть ничего, кроме язв своих, и не слышать иного, кроме стонов отчаяния.

Жалко их, ибо они уже как безумные, но и противно душе с ними, когда видишь, что во всякое лицо готовы они метнуть желчный свой плевок и солнце поганили бы плевками, если б могли.

Другие же задавлены горем, запуганы им, молчат, прячутся жизни, маленькие и робкие, но не могут укрыться и служат глиной в руке сильного ими он замазывает щели в стенах крепости своей.

Много лиц и слов врезалось в память мою, великие слёзы пролиты были предо мной, и не раз бывал я оглушён страшным смехом отчаяния; все яды отведаны мною, пил я воды сотен рек. И не однажды сам проливал горькие слёзы бессилия.

Встала жизнь передо мной, как страшный бред, как снежный вихрь тревожных слов и горячий дождь слёз, неустанный крик отчаяния и мучительная судорога всей земли, болящей недоступным разуму и сердцу моему стремлением.

Стонет душа моя:

– Не то!

Мутно текут потоки горя по всем дорогам земли, и с великим ужасом вижу я, что нет места богу в этом хаосе разобщения всех со всеми; негде проявиться силе его, не на что опереться стопам, – изъеденная червями горя и страха, злобы и отчаяния, жадности и бесстыдства – рассыпается жизнь во прах, разрушаются люди, отъединённые друг от друга и обессиленные одиночеством.

Спрашиваю:

– Неужели ты действительно – только сон души человеческой и надежда, созданная отчаянием в тёмный час бессилия?

Видю – у каждого свой бог, и каждый бог не многим выше и красивее слуги и носителя своего. Давит это меня. Не бога ищет человек, а забвения скорби своей. Вытесняет горе отовсюду человека, и уходит он от себя самого, хочет избежать деяния, боится участия своего в жизни и всё ищет тихий угол, где бы скрыть себя. И уже чувствую в людях не святую тревогу богоискания, но лишь страх пред лицом жизни, не стремление к радости о господе, а заботу – как избыть печаль?

Кричит душа моя:

– Не то!

Бывало, видишь человека: он серьёзно задумался, и хорошо, чисто горят его глаза... Встретишь его раз и два – всё тот же, а на третий или четвёртый раз, смотришь, – он озлоблен или пьян, и уже не скромен, а нахален, груб, богохульствует.



И не понимаешь, отчего разорился человек, обо что разбил себя? Все как бы слепы и легко спотыкаются на пути; редко слышишь живое, одухотворённое слово, слишком часто люди говорят по привычке чужие слова, не понимая ни пользы, ни вреда мысли, заключённой в них.

Подбирают речи блаженных монахов, прорицания отшельников и схимников, делятся ими друг с другом, как дети черепками битой посуды в играх своих. Наконец, вижу не людей, а обломки жизни разрушенной, – грязная пыль человеческая носится по земле, и сметает её разными ветрами к папертям церквей.

Бесчисленно кружится народ около мощей, чудотворных икон, купается в источниках – и всюду ищет только самозабвения.

подавляли меня крестные ходы, – чудотворные иконы ещё в детстве погибли для меня, жизнь в монастыре окончательно разбила их. Гляжу, бывало, как люди огромным серым червём ползут в пыли дорожной, гонимые неведомой мне силой, и возбуждённо кричат друг другу:

– Прибавь шагу! Шагу!

А над ними, пригибая головы их к земле, плывёт жёлтой птицей икона, и кажется, что тяжесть её непомерно велика для всех.

В пыль и грязь, под ноги толпы, комьями падают кликуши, бьются, как рыбы; слышен дикий визг – льются люди через трепетное тело, топчут, пинают его и кричат образу матери бога:

– Радуйся, пресвятая!

Лица у всех искажённые, одичалые от напряжения, мокрые от пота, чёрные от грязи, – и весь этот ход толпы, безрадостное пение усталых голосов, глухой топот ног – обижает землю, омрачает небеса.

А по краям дороги, под деревьями, как две пёстрые ленты, тянутся нищие – сидят и лежат больные, увечные, покрытые гнойными язвами, безрукие, безногие, слепые... Извиваются по земле истощённые тела, дрожат в воздухе уродливые руки и ноги, простираясь к людям, чтобы разбудить их жалость. Стонут, воют нищие, горят на солнце их раны; просят они и требуют именем Божиим копейки себе; много лиц без глаз, на иных глаза горят, как угли; неустанно грызёт боль тела и кости, – они подобны страшным цветам.

Видишь некое гонение людей, и враждебна мне сила, коя влачит их в пыли и грязи, – куда?

– Не то!

Был в дивном городе Киеве, поражался красотой и величием древнего гнезда русского.

Пробовал беседовать с одним монахом, – считался он умницей.

Говорю ему: так, мол, и так, не могу понять законов, по которым строится жизнь людей.

– Кто таков?

– Крестьянин.

– Грамотен?

– Немного.

– Не по башке шапка – грамота для вас! – строго говорит он.

Вижу – действительно – умник.

– Штундист? – спрашивает он.

- Нет.

- Ага! Духобор?

- Почему?

- По мыслям.

Лицо у него розоватое, как ветчина, а глаза маленькие.

- Ежели, - говорит, - бога ищешь, то, конечно, затем, чтобы низвергнуть его!

И грозит мне пальцем:

- Знаю я вас! А вот не желаешь ли прочитать сто раз "Верую"? Вот прочитай-ко! И все глупости твои исчезнут, яко дым. А вообще вас бы, еретиков, в Абиссинию надо ссылатъ, в Африку, ко эфиопам, да! Там бы вы живо от жары передохли!

Спрашиваю я его:

- А вы были там, в Абиссинии этой?

- Был, - говорит.

- А вот не издохли?

Рассердился монах.

Встретил я над Днепром человека: сидит он на берегу против Лавры и камешки в воду бросает; лет пятьдесят ему, бородатый, лысый, лицо морщинами исчерчено, голова большая; я в то время по глазам уже видел серьезных людей, - подошёл к нему, сел рядом.

Вечер был. Торопливо катит воды свои мутный Днепр, а за ним вся гора расцвела храмами: трепещет на солнце кичливое золото церковных глав, сияют кресты, даже стёкла окон как драгоценные камни горят, - кажется, что земля разверзла недра и с гордой щедростью показывает солнцу сокровища свои.

А человек рядом со мною говорит негромко и печально:

- Закрывать бы всю Лавру стеклом, монахов выгнать вон, и никого не пускать туда, - нет уже людей, достойных ходить среди этой красоты!

Словно сказка, кем-то мудрым и великим рассказанная, застыла там за рекой; прибегают издали волны Днепра и радостно плещут, видя её, но не гаснет в удивлённом пении реки тихий голос человека.

- Как сильно было начато, как могуче строено!

Как старый сон, вспоминаю я князя Владимира, Антония, Феодосия, богатырей русских - и жалко мне чего-то.

Громко и радостно звонят многочисленные колокола на том берегу, но слышнее для меня грустные думы о жизни.

- Не помним мы никто родства своего. Я вот пошёл истинной веры поискать, а теперь думаю: где человек? Не вижу человека. Казаки, крестьяне, чиновники, попы, купцы, - а просто человека, не причастного к обыкновенным делам, - не нахожу. Каждый кому-нибудь служит, каждому кто-нибудь приказывает. Над начальником ещё начальник, и уходит всё это из глаз в недостижимую высоту. А там скрыт бог.

Ночь идёт; посинела вода в реке, и кресты на церквах потеряли лучи. Человек бросает в реку камешки, а я уже не вижу кругов от них.

- В третьем году, - говорит он, - у нас в Майкопе бунт был по случаю чумы на скоте. Вызваны были драгуны против нас, и христиане убивали христиан. Из-за скота! Много народу погублено было. Задумался я - какой же веры мы, русские,

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
если из-за волю смерти друг друга предаём, когда богом нашим сказано: "не убий"?

Уплывает Лавра во тьму, точно в гору уходит, как видение. Шарит казак руками по земле вокруг себя – ищет камней, находит и мечет их в реку. Звенит вода.

– Так-то, человеке! – говорит казак, опустив голову. – Господень закон – духовное млеко, а до нас доходит только сыворотка. Сказано: "чисти сердце божье узреть" – а разве оно, сердце твоё, может чисто быть, если ты не своей волей живёшь? А коли нет у тебя свободной воли, стало быть, нет и веры истинной, а только одна выдумка.

Встал он, отряхнулся, посмотрел вокруг, коренастый такой.

– Не свободны мы для бога, вот что, думаю я!

Приподнял картуз и пошёл, а я остался, как прибит к земле. Хочу овладеть словами казака – не умею, а чувствую – есть в них правда.

Ласкает меня южная тёмная ночь, а я думаю:

"Неужели только в тоске красота души человеческой? Где тот стержень, вокруг которого вьётся вихрь человеков? Где смысл суеты этой?"

К зиме я всегда старался продвинуться на юг, где потеплей, а если меня на севере снег и холод заставлял, тогда я ходил по монастырям. Сначала, конечно, косятся монахи, но покажешь себя в работе – и они станут ласковее, – приятно им, когда человек хорошо работает, а денег не берёт. Ноги отдыхают, а руки да голова работают. Вспоминаешь всё, что видел за лето, хочешь выжать из этого бремени чистую пищу душе, – взвешиваешь, разбираешь, хочешь понять, что к чему, и запутаешься, бывало, во всём этом до слёз.

Чувствую – пресытился я стонами и скорбью земли, и блекнет дерзость духа моего; становлюсь я угрюм, молчалив, растёт во мне озлобление на всё и на всех. Временами охватывало меня тёмное уныние: по неделям жил я, как сонный или слепой, – ничего не хочется, ничего не вижу. Стал думать: а не бросить ли мне это хождение, да и жить, как все, не загадывая загадок себе, смиренно подчиняясь не мною установленному? День для меня тёмный, как и ночь, и одиноко я на земле, словно месяц в небе, а осветить ничего не могу. Иной раз как будто отойдёшь в сторону от себя и видишь: вот стоит на распутье здоровый парень, и всем он чужой, ничто ему не нравится, никому он не верит. Зачем он живёт? Почему он отколот от мира?

И охладела душа...

Заходил я также в женские монастыри – на неделю, на две – и в одном из них, на Волге, порубил себе ногу топором, когда колот дрова. Лечит меня мать Феоктиста, добрая такая старушка; монастырёк небольшой, но богатый; сёстры всё такие сытые, важные. Злят они меня слащавостью своей, паточными улыбочками, жирными зобами.

Стою однажды за всенощной и слышу – клирошанка одна дивно поёт. Девушка высокая, лицо разгорелось, глаза чёрные, строгие, губы яркие, голос большой и смелый – поёт она, точно спрашивает, и чудится мне в этом голосе злая слеза.

Подживала нога у меня, собирался я уходить и уже мог работать. Вот однажды чищу дорожки, отгребая снег, идёт эта клирошанка, тихо идёт и – как застывшая. В правой руке, ко груди прижатой, четки, левая плетью вдоль тела повисла; губы закушены, брови нахмурены, лицо бледное. Поклонился я ей, дёрнула головой кверху и взглянула на меня так, словно я ей великое зло однажды сделал.

Раззадорила она этим меня, да и не уважал я этих молодых монахинь.

– Что, – говорю, – девушка, нелегко, видно, жить?

Приостановилась, вспыхнула.

– Как ты сказал? – говорит.

- Трудно, - мол, - себя одолеть?

А она мне на это вдруг и скажи, тихонько и со злобой:

- У, дьявол!

И быстро ушла, чёрная, как обрывок тучи в ветреный день.

Объяснить, зачем я это ей сказал, не умею: в ту пору всё чаще вспыхивали у меня такие мысли, - вспыхнет да и вылетит искрой в глаз кому-нибудь. Казалось мне, что все люди лгут, притворяются.

Через некоторое время на другой дорожке снова вижу её. И ещё больше взяло меня зло - чего она тут закуталась в чёрное, от чего прячется? Поравнялась она со мной, а я и говорю:

- Хочешь бежать отсюда?

Вздрыгнула девица, голову вскинула, вытянулась вся, как стрела; я думал, она закричит.

Но идёт мимо, и слышу я неожиданный ответ:

- Вечером скажу.

Меня оторопь взяла; подумал бы, что ослышался, да она хоть и тихо сказала, но - как в колокол ударила. И хотя смешно мне, а смутился я, но потом успокоил себя, подумав, что озорничает, дерзкая.

Когда я разрубил ногу, отвели меня в гостиницу, положили в маленькой комнатке под лестницей, да так и остался я в ней жить.

Вечером того дня лежу я на койке и думаю, что надо мне кончить бродяжью жизнь, - пойду в какой-нибудь город и буду работать в хлебопекарне. О девице не хотелось думать.

Вдруг тихонько стучат... Вскочил, отпер - монахиня-старушка кланяется и говорит:

- Пожалуйста!

Понял - куда; ничего не спрашиваю, иду и грожусь:

"Вот как? Так я ж тебе, милая, душу-то встряхну!"

Переходами да коридорами дошли мы до места, открыла старуха дверь, толкнула меня вперёд и шепчет:

- Я потом провожу...

Вспыхнула спичка, в темноте осветила знакомое лицо, слышу голос:

- Запри дверь.

Запер. Нащупал печь, прислонился к ней, спрашиваю.

- Огня - не будет?

Хихикнула девица тихонько.

- Какого огня? - говорит.

"Ах ты, - думаю, - дрянь!"

И молчу. Девицу едва вижу, - во тьме она - как тёмная туча ночью на облачном небе.

- Что же вы молчите? - спрашивает она.

Голос хозяйский.

"Видно, богатая", – соображаю, и говорю:

– За вами слово!

– Вы это серьёзно говорили, чтобы бежать?

Подумал я, как язвительнее ответить ей, и не сразу, спокойно отвечаю, подлец:

– Нет, – мол, – я это благочестие ваше пытал.

Снова она спичку зажгла, вспыхнуло её лицо, чёрные глаза смотрят дерзко. Жутко немного стало мне. Присмотрелся к темноте, увидал, что стоит она, высокая и чёрная, среди комнаты и – странно прямо стоит.

– Благочестие моё, – шепчет горячо, – пытать незачем, не для этого вы сюда позваны, а коли не понимаете – уходите вон...

Груб её шёпот, и не баловство слышу я в нём, а что-то серьёзное. В стене предо мною окно, как бы во глубину ночи ход прорублен, – неприятно видеть его. Нехорошо мне, чувствую, что в чём-то ошибся, и всё больше жутко, даже и ноги дрожат у меня. А она говорит:

– Бежать мне некуда, я сюда дядей насильно отдана, – жить здесь нет у меня терпения, удавлюсь...

И замолчала, как в яму сорвалась.

Совсем потерялся я, а она подвигается всё ближе ко мне и дышит тяжело.

– Чего же вы хотите? – говорю.

Вот она вплоть подошла; рука её у меня на плече – дрожит рука, и я тоже вздрагиваю, гнутся колени, и тьма в горло мне лезет, душит меня.

"Может, кликуша?" – думаю.

А она начала уже всхлипывать и шепчет, горячо дышит мне в лицо:

– Родила я сыночка – отняли его у меня, а меня загнали сюда, и не могу я здесь быть! Они говорят – помер ребёночек мой; дядя-то с тёткой говорят, опекуны мои. Может, они убили, подкинули его, ты подумай-ка, добрый мой! Мне ещё два года во власти у них быть до законного возраста, а здесь я не могу!

Так её всю сподымя и бьёт; чувствую я – виноват пред ней, жалко её, но и боязно – похожа она на полоумную, – верю ей и нет.

А она шепчет, захлёбываясь:

– Ребёночка хочу... Как беременна-то буду, выгонят меня! Нужно мне младенца; если первый помер – другого хочу родить, и уж не позволю отнять его, ограбить душу мою! Милости и помощи прошу я, добрый человек, помоги силой твоей, вороти мне отнятое у меня... Поверь, Христа ради, – мать я, а не блудница, не греха хочу, а сына; не забавы – рождения!

Был я как во сне. Поверил ей, – нельзя не поверить, коли женщина так встаёт за право своё, что призывает незнакомого ей и прямо говорит:

– Запрещают мне человека родить – помоги!

И вспомнил я неведомую мне мать мою: может, и она вот так же силой своей женской брошена была во власть отца моего? Обнял я её, говорю:

– Прости меня, скверно я подумал о тебе... Ради божьей матери прости!

Но когда, в самозабвении оба, совершили мы с нею святое брачное таинство, снова смутила меня лукавая мысль:

"А как обманула она и не с первым со мною это творит?"

Рассказывает она мне жизнь свою: дочь слесаря, дядя у неё помощник машиниста, пьяный и суровый человек. Летом он на пароходе, зимою в затоне, а ей – негде жить. Отец с матерью потонули во время пожара на пароходе; тринадцати лет осталась сиротой, а в семнадцать родила от какого-то барчонка. Льётся её тихий голос в душу мне, рука её тёплая на шее у меня, голова на плече моём лежит; слушаю я, а сердце сосёт подлый червяк сомневаюсь.

Забыли мы, что женщина Христа родила и на Голгофу покорно проводила его; забыли, что она мать всех святых и прекрасных людей прошлого, и в подлой жадности нашей потеряли цену женщине, обращаем её в утеху для себя да в домашнее животное для работы; оттого она и не родит больше спасителей жизни, а только уродцев сеет в ней, плодя слабость нашу.

Рассказывает про монастырь, слышу: не одна она насильно в нём живёт. И вдруг говорит, ласкаясь ко мне:

– У меня здесь подружка – хорошая девица, чистая, богатой семьи... ой, как трудно ей, знал бы ты! Вот и ей бы тоже забеременеть: когда её выгонят за это – она бы к матери крёстной ушла.

"Господи!. – думаю я. – Вот несчастные..."

И ещё раз хрустнула вера моя во всеведение божие и в справедливость законов, – разве можно так ставить человека ради торжества закона?

А Христина тихонько шепчет на ухо мне:

– Кабы ты и с нею так же мог...

Убила она меня этими словами, хоть ноги ей целуй! Ибо – понимаю я, что так может сказать только женщина чистая, цену материнства чувствующая. Сознался я в сомнениях своих пред нею; оттолкнула она меня и тихонько заплакала во тьме, а я уже и утешать её не смею.

– Думаешь, не стыдно мне было позвать тебя? – говорит она, упрекая. Этаким красивой и здоровой – легко мне у мужчины ласку, как милостыню, просить? Почему я подошла к тебе? Вижу, человек строгий, глаза серьёзные, говорит мало и к молодым монахиням не лезет. На висках у тебя волос седой. А ещё – не знаю почему – показался ты мне добрым, хорошим. И когда ты мне злобно так первое слово сказал – плакала я; ошиблась, думаю. А потом всё-таки решила – господи, благослови! – и позвала.

– Прости меня, – говорю.

Поцеловала.

– Бог простит!

Тут старушка стучит в дверь, шепчет:

– Расходитесь, к заутрене ударят сейчас.

И, когда провожала меня переходами, говорит:

– Вы бы дали рублик мне!

Едва я не зашиб её.

Дён пять прожил я с Христей, а больше невозможно было: стали клирошанки и послушницы сильно приставать, да и хотелось мне побыть одному, одумать этот случай. Как можно запрещать женщине родить детей, если такова воля её и если дети всегда были, есть и будут началом новой жизни, носителями новых сил?

Было и ещё одно, чего должен я был избежать; показала мне Христя подругу свою: тоненькая девочка, белокурая и голубоглазая, похожа на Ольгу мою. Личико чистое,

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

и с великой грустью смотрит она на всё. Потянуло меня к ней, а Христа всё уговаривает. Для меня же тут дело иначе стояло: ведь Христина не девушка, а Юлия невинна, стало быть, и муж её должен быть таков. И не имел я веры в себя, не знал, кто я такой; с Христей это мне не мешало, а с той – могло помешать; почему – не знаю, но могло.

Простился я с Христей; всплакнула она немного, просила писать ей, хотела известить, когда забеременеет, и тайный адресок дала. Вскоре после разлуки написал я ей – ответила хорошим письмом; ещё написал – молчит. И уже года через полтора, в Задонье, получил я её письмо – долго оно лежало на почте. В том письме извещала она, что родился у неё ребёнок, сын, Матвей, весел и здоров, и что живёт она у тётки, а дядя помер, опился. Теперь, пишет, я сама себе госпожа, и коли ты придёшь – был бы принят с радостью. Захотелось мне сына увидеть и случайную жену мою, но в то время выходил я на верную дорогу и – отказал ей: не могу, – мол, – после приду.

А после она замуж за торговца книгами и картинами вышла и в Рыбинск уехала жить.

Первый раз в Христине увидел я человека, который не носит страха в своей душе и готов бороться за себя всей силой. Но тогда не оценил этой черты по великой цене её.

После случая с Христиной пробовал я работать в городе, да не по недугу оказалось это мне – тесно и душно. Народ мастеровой не нравится наготово души своей и открытой манерой отдавать себя во власть хозяину: каждый всем своим поведением как бы кричит:

"Нате вот, жрите тело моё, пейте кровь, некуда мне деваться на земле!"

Тоскливо с ними: пьют они, ругаются между собою зря, поют заунывные песни, горят в работе день и ночь, а хозяева греют свой жир около них. В пекарне тесно, грязно, спят люди, как собаки; водка да разврат – вся радость для них. Заговору я о неустройстве жизни – ничего, слушают, грустят, соглашаются; скажу: бога, – мол, – надо нам искать! – вздыхают они, но – непрочно пристают к ним мои слова. Иногда вдруг начнут издеваться надо мной, непонятно почему. А издеваются зло.

Городов я не любил. Жадный шум их и эта бесшабашная торговля всем несносны были мне; обалдевшие от суеты люди города – чужды. Кабаков избыток, церкви – лишние, построены горы домов, а жить тесно; людей много и все – не для себя: каждый привязан к делу и всю жизнь бегаёт по одной линии, как пёс на цепи.

Во всех звуках – утомление слышу; даже звон колокольный безнадежно звучит, и всей душой моей чувствую я – не так всё сделано, не то!

Иной раз сам над собой смеюсь: ишь, какой уставщик живёт! Но хоть и смешно, да не радостно: вижу я только ошибку во всём, недоступна она разуму моему и тем больше тяготит. Иду ко дну.

По ночам вспоминаю свою вольную жизнь и особенно чётко – ночлеги в полях.

В полях земля кругла, понятна, любезна сердцу. Лежишь, бывало, на ней, как на ладони, мал и прост, словно ребёнок, тёплым сумраком одетый, звёздным небом покрыт, и плывёшь, вместе с ней, мимо звёзд.

Насыщается усталое тело крепким дыханием трав и цветов; кажется тебе, что ты в люльке лежишь и невидимая рука тихо качает её, усыпляя тебя...

Тени плавают, задевают стебли трав; шорох и шёпот вокруг; где-то суслик вылез из норы и тихо свистит. Далеко на краю земли кто-то тёмный встанет – может, лошадь в ночном – постоит и растает в море тёплой тьмы. И снова возникает, уже в ином месте, иной формы... Так всю ночь бесшумно двигаются по полям немые сторожа земного сна, ласковые тени летних ночей. Чувствуешь, что около тебя, на всём круге земном, притаилась жизнь, отдыхая в чутком полусне, и совестно, что телом твоим ты примял траву.

Ночная птица бесшумно летит – ожил, оторвался кусок земли и, окрылён своим желанием, несётся исполнить его.

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Мыши шуршат... Иной раз по руке у тебя быстро перекатится маленький мягкий комочек, - вздрогнешь и ещё глубже чувствуешь обилие живого, и сама земля оживёт под тобой, сочная, близкая, родная тебе.

И слышишь, как она дышит, хочешь догадаться, какой сон видится ей и какие силы тайно зреют в глубине её, как она завтра взглянет на солнце, чем обрадует его, красавица, любимая им.

Словно таешь, прислонясь ко груди её, и растёт твоё тело, питаюсь тёплым и пахучим соком милой матери твоей; видишь себя неотрывно, навеки земным и благодарно думаешь:

"Родная моя!"

Струится от земли невидимый поток добрых сил, текут по воздуху ручьи пряных запахов - земля подобна кадилу в небесах, а ты - уголь и ладан кадила.

Торопливо горят звёзды, чтобы до восхода солнца показать всю красоту свою; опьяняет, ласкает тебя любовь и сон, и сквозь душу твою жарко проходит светлый луч надежды: где-то есть прекрасный бог!

"Ищите и обряцете" - хорошо это сказано, и не надо забывать этих слов, ибо это слова, поистине достойные разума человеческого.

Как только заглянула в город весна, ушёл я, решив сходить в Сибирь хвалили мне этот край, - а по дороге туда остановил меня человек, на всю жизнь окрыливший душу мою, указав мне верный к богу путь.

Встретил я его на пути из Перми в Верхотурье.

Лежу у опушки лесной, костер развёл, чай кипячу. Полдень, жара, воздух, смолами древесными напоенный, маслянистый и густ - дышать тяжело. Даже птицам жарко - забились в глубь леса и поют там, весело строя жизнь свою. На опушке тихо. Кажется, что скоро растает всё под солнцем и разноцветно потекут по земле густыми потоками деревья, камни, обомлевшее тело моё.

Вдруг с пермской стороны идёт человек и поёт высоким дрожащим голосом. Приподнял я голову, слушаю, и вижу: странник шагает, маленький, в белом подряснике, чайник у пояса, за спиной ранец из телячьей кожи и котелок. Идёт бойко, ещё издали кивает мне головой, ухмыляется. Самый обыкновенный странник, много таких, и вредный это народ: странничество для них сытое ремесло, невежды они, невегласы, врут всегда свирепо, пьяницы и украсть не прочь. Не любил я их во всю силу души.

Подошёл, снял скуфейку, потрянул головой, косичка у него смешно подпрыгнула - и заболтал, как скворец:

- Мир ти, человеце! Вот так жара - на двадцать два градуса жарче, чем в аду!

- Давно ли оттуда? - спрашиваю.

- Шестьсот лет прошло!

Голос у него бодрый, весёлый, головка маленькая, лоб высокий; лицо, как паутиной, тонкими морщинами покрыто; борода чистая такая, седенькая, а карие глазки, словно у молодого, золотом сверкают.

"Вот, - думаю, - забавная жулябия!"

А он всё говорит:

- Ну, Урал!.. Эка красота! Велик мастер господь по украшению земли: леса, реки, горы - хорошо положил!

Снимает с себя дорожный прибор, вертится живо, козловато; увидел, что мой чайник вскипел, сейчас снял его и спрашивает, как старый товарищ:

- Своего чаю засыпать али твой будем пить?



Я не успел ответить, а он уже решил:

- Давай моего попьём, - хороший чай у меня, купчиха одна подарила, дорогой чай!

Усмехнулся я:

-А и козловат же, - мол, - ты!

- Это что! - говорит. - Меня жарой разморило, а вот погоди, отдохну, так я те морщины-то выглажу!

Есть в нём что-то, напоминающее Савёлку, и хочется мне с ним шутить.

Но, может быть, уже через пять минут я слушал, разиня рот, его речь, странно знакомую и не слышанную мной; слушаю - и как будто не он, а сердце моё радости солнечных дней поёт.

- Гляди... Это ли не праздник и не рай? Торжественно вздымаются горы к солнцу и восходят леса на вершины гор; малая былинка из-под ног твоих окрылённо возносится к свету жизни, и всё поёт псалмы радости, а ты, человек, ты - хозяин земли, чего угрюм сидишь?

"Что за неведомая птица?" - спрашиваю я себя и говорю ему испытующе:

- А если думы одолели нерадостные?

Указывает он на землю:

- Это что?

- Земля.

- Нет! Выше гляди!

- Трава, что ли?

- Ещё выше!

- Ну, тень моя!

- Тень тела твоего, - говорит, - а думы - тень твоей души! Чего боишься?

- Я ничего не боюсь.

- Врёшь! Кабы не боялся, были бы думы твои бодры. Печаль рождается страхом, а страх от маловерия. Так-то!

Наливает чай по кружкам и непрерывно говорит:

- Будто видел я тебя уже, а? Ты на Валааме был?

- Был.

- Когда? Значит - не там. А мне показалось, что там видел я тебя, рыжего. Приметное лицо. Да!.. Это я в Соловках видел тебя!

- А в Соловках не был я.

- Не был? Напрасно! Древен монастырь и великой красоты. Сходи!

- Значит, не видал ты меня! - говорю, и почему-то, обидно мне, что это так.

- Эка важность! - восклицает он. - Раньше не видал - теперь вижу! А тогда, значит, был другой, похож на тебя. Не всё ли равно?

Засмеялся я.

- Как же, - мол, - всё равно?

- А почему нет?
- Да ведь я - это я, а другой - другой!
- А ты его лучше?
- Не знаю.
- И я не знаю!

Смотрю я на него, и овладевает мною нетерпение: хочется, чтобы он говорил. Он же, прихлёбывая чай, торопливо вспоминает:

- Да, - ведь тот был кривой, чем и смущался весьма. Все эти кривые, хромяе - снаружи и внутри - самолюбые неестественные! Я, дескать, крив - али там - я-де хром, но вы, люди, не смейте замечать это за мной! Вот и этот таков. Говорит он мне: "Все люди сволочи; видят они, что у меня один глаз, и говорят мне: ты кривой. А потому они - мерзавцы!" Я ему говорю: "Ты, миленький, сам сволочь и мерзавец, коли не дурак, - выбирай, что слаще! Ты, мол, пойми: не то важно, как люди на тебя смотрят, а то, как ты сам видишь их. Оттого мы, друг, и кривы и слепы, что всё на людей смотрим, тёмного в них ищем, да в чужой тьме и гасим свой свет. А ты своим светом освети чужую тьму - и всё тебе будет приятно. Не видит человек добра ни в ком, кроме себя, и потому весь мир - горестная пустыня для него".

Слушаю его, точно заплутавшийся, ночью, в лесу, дальний благовест, и боюсь ошибиться - не сова ли кричит? Понимаю, что много он видел, многое помирил в себе, но кажется мне, отрицает он меня, непонятно шутя надо мною, смеются его молодые глаза. После встречи с Антонием трудно было верить улыбке человека.

Спросил я его, кто он.

- Зовут, - говорит, - Иегудиил, людям весёлый скomorох, а себе самому - милый друг!
- Из духовных?

- Был попом недолго, да расстригли и в Суздаль-монастыре шесть лет сидел! За что, спрашиваешь? Говорил я в церкви народушке проповеди, он же, по простоте души, круто понял меня. Его за это пороть, меня - судить, тем дело и кончилось. О чём проповеди? Уж не помню. Было это давненько, восемнадцать лет тому назад - можно и забыть. Разными мыслями я жил, и все они не ко двору приходились.

Смеётся - в каждой морщине лица его смех играет, а смотрит он вокруг так, словно все горы и леса им устроены.

Когда посвежело, пошли мы с ним дальше, и дорогой спрашивает он меня:

- А ты - из каких?

Снова, как тогда пред Антонием, захотелось мне поставить все прошлые дни в ряд пред глазами моими и посмотреть ещё раз на пёстрые лица их. Говорю я о детстве своём, о Ларионе и Савелии, - хохочет старик и кричит:

- Ах, милые люди! Ай, шуты божий, а? Это, милый, настоящие, это русской земли цветы! Ах, боголюбы!

Не понимаю я этих похвал, и странно мне видеть радость его, а он - от смеха даже идти не может; остановится, голову вверх закинет и звенит, покрикивает прямо в небо, словно у него там добрый друг живёт и он делится с ним радостью своей.

Ласково говорю:

- Ты несколько похож на Савёлку.
- Похож? - кричит. - Это, брат, весьма хорошо, коли похож! Эх, милый, кабы нашего брата, живого человека, да не извела в давнее время православная церковь

- не то бы теперь было в русской земле!

Темна его речь.

Про Титова говорю, а он как будто видит тестя моего, издевается над ним.

- Ишь ты! Видал я таких, видал! Жаден клопик, глуп и труслив...

А когда выслушал мой рассказ об Антонии, задумался немного, потом говорит:

- Та-ак! Фома. Ну - не всяк фома от большого ума, иной фома просто глупость сама!

И, отмахиваясь от шмеля, убеждает его:

- Пошёл, пошёл прочь! Экий неуклюжий - лезет прямо в глаза... ну тебя!

Ловлю я его слова внимательно, ничего не пропуская: кажется мне, что все они большой мысли дети. Говорю, как на исповеди; только иногда, бога коснувшись, запнусь: страшновато мне да и жалко чего-то. Потускнел за это время лик божий в душе моей, хочу я очистить его от копоти дней, но вижу, что стираю до пустого места, и сердце жутко вздрагивает.

А старик, кивая головой, ободряет:

- Ничего, не бойся! Умолчишь - себе солжёшь, а не мне. Говори, говори! Своего не жалеи: изломаешь - новое сделаешь!

На все мои речи откликается он чутким эхом, и всё легче мне с ним.

Застигла нас ночь.

- Стой! - говорит он. - Давай место искать для отдыха.

Нашли приют под большим камнем, оторванным от родной горы; кусты на нём раскинулись, свешиваясь вниз тёмным пологом, и легли мы в тёплой их тени. Костёр зажгли, чай кипятим.

Спрашиваю я:

- Что же ты мне скажешь, отец?

Улыбается.

- А что знаю - всё скажу! Только ты не ищи в словах моих утверждения: я не учить хочу, а рассказывать. Утверждают те, для кого ход жизни опасен, рост правды вреден. Видят они, что правда всё ярче горит - потому всё больше людей зажигают пламя её в сердце своём, - видят они это и пугаются! Наскоро схватят правды, сколько им выгодно, стиснут её в малый колобок и кричат на весь мир: вот истина, чистая духовная пища, вот - это так! и навеки незыблемо! И садятся, окаянные, на лицо истины и душат её, за горло взяв, и мешают росту силы её всячески, враги наши и всего сущего! А я могу сказать одно: на сей день - это так, а как будет завтра - не ведаю! Ибо, видишь ли, в жизни нет настоящего, законного хозяина; не пришёл ещё он, и неизвестно мне, как распорядится, когда придёт, - какие планы утвердит, какие порушит и какие храмы станет возводить? Павел-апостол однажды сказал: "всё содействует ко благу" - многие утвердились на сих словах, и все утвердившиеся обессилели, ибо встали на месте! Камень сей бессилен почему? - по неподвижности своей, брате! И нельзя говорить человеку: стой на сём! но - отсюда иди далее!

Первый раз слышу такую речь, и чуждо мне звучит она, - ею отрицает человек сам себя, а я ищу самоутверждения.

- Кто же, - мол, - этот хозяин - господь?

Улыбается старик:

- Нет, - говорит, - ближе к нам! Не хочется мне назвать его - лучше бы ты сам

догадался! Ибо во Христа прежде и крепче всех те уверовали, кто до встречи с ним знал уже его в сердце своём, и это силою их веры поднят он был на высоту божества.

Как перед дверью держит он меня, а не отворяет её, не показывает, что за нею спрятано им. Растёт во мне нетерпение и некая досада. Речи старика кажутся тёмными, и хотя порой сверкают жуткие искры в словах его, но они только ослепляют меня, не освещая тьму души. Ночь – лунная, окружают нас чёрные тени, лес над нами молча в гору идёт, и над вершиною гор – меж ветвей – звёзды блестя, точно птицы огненные. Где-то близко ручей журчит, в лесу изредка филин гукает, и надо всем в ночи тихо живёт старикова речь. Чуден старик! Вот снял он со щеки какую-то букашку, держит на ладони и спрашивает её:

– Ты куда, баловень? А? Беги-ка в траву, существо!

Это нравится мне: я тоже буканов всяких очень люблю, и всегда мне занятна их тайная жизнь среди трав и цветов.

Ставлю я разные вопросы старику; хочется мне, чтоб он проще и короче говорил, но замечаю, что обходит он задачи мои, словно прыгая через них. Приятно это живое лицо – ласково глядят его красные отсветы огня в костре, и всё оно трепещет мирной радостью, желанной мне. Завидно: вдвое и более, чем я, прожил этот человек, но душа его, видимо, ясна.

Говорю:

– Один человек сказал мне, что вера – выдумка, а ты что скажешь?

– Скажу, – отвечает, – что не знал человек, о чём говорит, ибо вера великое чувство и созидющее! А рождается она от избытка в человеке жизненной силы его; сила эта – огромна суть и всегда тревожит юный разум человеческий, побуждая его к деянию. Но связан и стеснён человек в деяниях своих, извне препятствуют ему всячески, – всё хотят, чтобы он хлеб и железо добывал, а не живые сокровища из недр духа своего. И не привык ещё, не умеет он пользоваться силами своими, пугается мятежей духа своего, создаёт чудовищ и боится отражений нестройной души своей – не понимая сущности её; поклоняется формам веры своей – тени своей, говорю!

Не скажу, чтоб в ту минуту понял я его, но почему-то сильно рассердился и думаю:

"Ну, теперь с этого места я тебя никуда не пущу, доколе ты не ответишь мне на коренной вопрос!"

И строго спрашиваю:

– А почему ты бога обходишь?

Смотрит он на меня, подняв брови, и говорит:

– Да я, милый, всё время о нём толкую! Разве ты не чувствуешь?

Встал на колени и, освещённый огнём, протянул руку мне, говоря тихо и внушительно:

– Кто есть бог, творяй чудеса? Отец ли наш или же – сын духа нашего?

Вздрыгнул, помню, и оглянулся я, ибо – жутко мне стало: вижу в старике нечто безумное. И эти чёрные тени лежат вокруг, прислушиваясь; шорохи лесные отовсюду ползут, заглушая слабый треск углей, тихий звон ручья. Мне тоже захотелось на колени встать. Он уже громко говорит, как бы споря:

– Не бессилием людей создан бог, нет, но – от избытка сил. И не вне нас живёт он, брате, но – внутри! Извлекли же его изнутри нас в испуге пред вопросами духа и наставили над нами, желая умерить гордость нашу, несогласную с ограничениями волю нашу. Говорю: силу обратили в слабость, задержав насильно рост её! Образы совершенства – поспешно делаются; это вред нам и горе. Но люди делятся на два племени: одни – вечные богостроители, другие – навсегда рабы пленного стремления ко власти над первыми и надо всей землей. Захватили они эту власть и ею

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
утверждают бытие бога вне человека, бога – врага людей, судию и господина земли. Исажили они лицо души Христа, отвергли его заповеди, ибо Христос живой – против их, против власти человека над ближним своим!

Говорит он – и словно больной зуб в душе моей пошатывает, хочет выдернуть; больно мне и хочется кричать:

"Не то!"

А у него – лицо праздничное, весь он пьян и буен радостью; вижу я безумие речи его, но люблюсь стариком сквозь боль и тоску души, жадно слушаю речь его:

– Но живы и бессмертны богостроители; ныне они снова тайно и усердно творят бога нового, того именно, о котором ты мыслишь, – бога красоты и разума, справедливости и любви!

Потрясает он меня речью своей, поднимает на ноги и как бы оружие в руки даёт, трепещет вокруг меня лёгкая тень, задевая крыльями лицо моё, страшно мне, кружится земля подо мной, и думаю я:

"А если верно, что дьявол искушает людей прелестными речами и это его хитрые петли плетёт старик, дабы запутать меня в сеть величайшего греха?"

– Слушай, – говорю, – кто – богостроители? Кто – хозяин, коего ждёшь?

Засмеялся он ласково, как женщина, и ответил:

– Богостроитель – это суть народушко! Неисчислимый мировой народ! Великомученик великий, чем все, церковью прославленные, – сей бо еси бог, творяй чудеса! Народушко бессмертный, его же духу верую, его силу исповедую; он есть начало жизни единое и несомненное; он отец всех богов бывших и будущих!

"Безумен старик", – думаю я.

До сей поры казалось мне, что хотя и медленно, но иду я в гору; не однажды слова его касались души моей огненным перстом и чувствовал я жгучие, но целебные ожоги и уколы, а теперь вдруг отяжелело сердце, и остановился я на пути, горько удивлённый. Горят в груди моей разные огни тоскливо мне и непонятно радостно, боюсь обмана и смущён.

– Неужели ты, – спрашиваю, – про мужиков говоришь?

Он громко и с важностью отвечает:

– Да, про весь рабочий народ земли, про всю её силу, вечный источник боготворчества! Вот просыпается воля народа, соединяется великое, насильно разобщённое, уже многие ищут возможности, как слить все силы земные в единую, из неё же образуется, светел и прекрасен, всеобъемлющий бог земли!

Говорит он так громко, словно не один я, – но и горы, и леса, и всё живое, бодрствующее в ночи, должно слышать его; говорит и трепещет, как птица, готовая улететь, а мне кажется, что всё это – сон, и сон этот унижает меня.

Вызываю в памяти моей образ бога моего, ставлю пред его лицом тёмные ряды робких, растерянных людей – эти бога творят? Вспоминаю мелкую злобу их, трусливую жадность, тела, согбенные унижением и трудом, тусклые от печалей глаза, духовное косноязычие и немоту мысли и всяческие суеверия их – эти насекомые могут бога нового создать?

Гнев и горький смех возникает в сердце моём. Понимаю, что старик нечто уже отнял у меня. И говорю ему:

– Эх, отец! Наблюдил ты в душе у меня, словно козёл в огороде, вот и вся суть твоих речей! Но неужели со всеми решаешься ты так говорить? Великий это грех, по-моему, и нет в тебе жалости к людям! Ведь утешений, а не сомнений ищут они, а ты сомнения сеешь!

Он – улыбается.

- Быть, - говорит, - тебе на пути моём!

Обидна мне эта улыбка.

- Врёшь! - мол. - Никогда не поставлю человека рядом с богом!

- И не надо, - говорит, - и не ставь, а то господина поставишь над собой! Я тебе не о человеке говорю, а о всей силе духа земли, о народе!

Разозлился я; противен мне стал боготворец в лаптях, вшивый весь, всегда пьяный, битый и поротый.

- Ну, молчи! - говорю. - Старый богохульник и безумец ты! Что такое народ? Грязен телом и мыслями, нищ умом и хлебом, за копейку душу продаст...

Тут случилось удивительное. Вскочил он на ноги и закричал:

- Цыц!

Руками машет, ногами топает, того гляди в лицо пнёт меня. Когда было в нём пророческое - стоял он дальше от меня, появилось смешное - и снова приблизился ко мне человек.

- Цыц! - кричит, - мышь амбарная! И впрямь, видно, есть в тебе гнилая эта барская кровь. Подкидывай ты народный! Понимаешь ли - о ком говоришь? Вот вы все так, гордионы, дармоеды и грабители земли, не знаете, на кого лагаете, паршивые псы! Обожрали, ограбили людей, сели на них верхом, да и ругаете: не притко вас везут!

Прыгает он надо мной, падает тень его на меня, холодно хлещет по лицу, и я отодвигаюсь удивлённо, боюсь - ударит он меня. Ростом я вдвое выше его, силы - на десяток таких, а остановить человека - нет у меня воли. Видимо, забыл он, что ночь кругом и пусто везде и что если я ушибу его - останется он на этом месте лежать до могилы. Вспоминаю я, как ругал меня когда-то испуганный зелёный протопоп, дикий Михаил и другие люди старой веры. Вот и этот ругается, но - другим огнём горит его гнев. Те были сильнее меня, но в словах их я слышал одно - страх, этот же - слаб, а - бесстрашен. И кричит на меня, как ребёнок, и словно мать: странно ласков его гнев, подобный первому грому весны. Смущён я непонятной храбростью старика, и хотя забавен гнев его, а неловко мне, что я так разозлил человека. Обидно ругается - не любил я, когда меня подкидывшем звали, но - приятен мне гнев его, ибо понимаю - гневается искренно верующий в правду свою, и такой гнев хорошо падает на душу - много в нём любви, сладкой пищи сердца.

Ворочаюсь я под ногами у него, а он кричит сверху:

- Что ты знаешь о народе? Ты, слепой дурак, историю знаешь? Ты вот почитай-ка это житие, иже - выше всех! - во святых отца нашего великомученика-народа! Тогда, может, на счастье своё, поймёшь, кто пред тобой, какая сила растёт вокруг тебя, бесприютного нищего на чужой земле! Знаешь ты, что такое Русь? И что есть Греция, сиречь Эллада, а также - Рим? Знаешь, чьёю волею и духом все государства строились? На чьих костях храмы стоят? Чьим языком говорят все мудрецы? Всё, что есть на земле и в памяти твоей, всё народом создано, а белая эта кость только шлифовала работу его...

Я молчу. Мне приятно видеть человека, который не боится защищать правду свою.

Сел он, запыхался, потный и красный весь, и вижу я - слёзы на глазах его. Поражает это меня, ибо, когда я обижал тех, прежних учителей моих, они не показывали мне слёз. Кричит он:

- Слушай, бродяга, я тебе буду о русском народе говорить!

- Ты, - мол, - отдохнул бы...

- Молчи! - говорит, грозя мне рукой. - Молчи, а то я тебя побью!

Захохотал я - не мог удержаться.

- Дед, милый! Невыразимо ты чуден! Прости Христа ради, коли обидел я тебя!

- Глупый, чем тебе меня обидеть? Но ты о великом народе нехорошо сказал, несчастная душа... Барам допустимо народ поносить, им надо совесть погасить, они - чужие на земле, а ты - кто?

Хорошо было смотреть на него в тот час, - стал он важен и даже суров, голос его осел, углубился, говорит он плавно и певуче, точно апостол читает, лицо к небу обратил, и глаза у него округлились. Стоит он на коленях, но ростом словно больше стал. Начал я слушать речь его с улыбкой и недоверием, но вскоре вспомнил книгу Антония - русскую историю - и как бы снова раскрылась она предо мною. Он мне свою сказку чудесную поёт, а я за этой сказкой по книге слежу - всё идет верно, только смысл другой.

Дошёл он до распада Киевской Руси, спрашивает:

- Слышал?

- Спасибо, - говорю.

- Ну, так знай теперь: таких богатырей не было, это народ свои подвиги в лицах воплощал, так запоминал он великую работу построения русской земли!

И продолжает о Суздальской земле.

Помню, где-то за горою уже солнце всходило; ночь пряталась в лесах и будила птиц; розовыми стаями облака над нами, а мы прижались у камня на росистой траве, и один воскрешает старину, а другой удивлённо исчисляет несчётные труды людей и не верит сказке о завоевании враждебной лесной земли.

Старик будто сам всё видел: стучат тяжёлые топоры в крепких руках, сушат люди болота, возводят города, монастыри, идут всё дальше, по течениям холодных рек, во глубины густых лесов, одолевают дикую землю, становится она благообразна. А князья, владыки народа, режут, крошат её на малые куски, дерутся друг с другом кулаками народа и грабят его. И вот со степи татары подошли, но не нашлось в князьях воителей за свободу народную, не нашлось ни чести, ни силы, ни ума; предали они народ орде, торговали им с ханами, как скотом, покупая за мужичью кровь княжью власть над ним же, мужиком. А потом, как научились у татар царствовать, начали и друг друга ханам на зарез посылать.

Ночь вокруг ласкова, как умная, старшая наша сестра.

От усталости осекается голос у старика, уже солнце видит его, а он всё ходит в прошлых былях, освещая мне истину пламенными словами.

- Видишь ли, - спрашивает, - что сделано народом и как измывались над ним до поры, пока ты не явился обругать его глупыми словами? Это я сказывал больше о том, что он по чужой воле делал, а отдохну - расскажу, чем душа его жила, как он бога искал!

Свернулся в комок и заснул, как малое дитя.

А я - спать не могу и сижу, как угольями обложен. Да и утро уже солнце высоко, распелась птица на все голоса, умылся лес росой и шумит, ласково зелёный, встречу дню.

По дороге люди пошли - люди самые ежедневные; идут, спустя головы, нового я в них не вижу ничего, никак они не выросли в моих глазах.

Спит мой учитель, похрапывает, я - около его замер в думе моей; люди проходят один за другим, искоса взглянут на нас - и головой не кивнут в ответ на поклон.

"Неужто, - думаю, - это дети тех праведников, строителей земли, о которых я слышал сейчас?"

Спутались в усталой голове сон и явь, понимаю я, что эта встреча роковой для меня поворот. Стариковы слова о боге, сыне духа народного, беспокоят меня, не

Исповедь. Максим Горький gorki.ucoz.ru

могу помириться с ними, не знаю духа иного, кроме живущего во мне. И обыскиваю в памяти моей всех людей, кого знал; ошариваю их, вспоминая речи их: поговорок много, а мыслями бедно. А с другой стороны вижу тёмную каторгу жизни – неизбывный труд хлеба ради, голодные зимы, безысходную тоску пустых дней и всякое унижение человека, оплевание его души.

"Где бог в этой жизни, где ему место в ней?"

Спит старик. Хочется мне потряхнуть его, закричать:

"Говори!"

Скоро он сам проснулся, щурит глаза, улыбается.

– Эге, – говорит, – солнце-то к полудню идёт! Надо бы и мне идти!

– Куда, – мол, – по жаре такой? Хлеб, чай, сахар есть у нас. Да и не могу я отпустить тебя – отдай обещанное!

Смеётся:

– Я от тебя, злыдень, сам не отстану!

Потом задумчиво говорит:

– Ты, Матвей, брось-ка шляться; это и поздно и рано тебе! Учиться надо; вот это – в пору!

– А не поздно?

– Гляди на меня, – говорит, – пятьдесят три года имею, а у ребят грамоте учусь и по сей день!

– У каких это ребят? – спрашиваю.

– Есть такие! Вот бы тебе с ними и пожить годок-другой. Иди-ка ты на завод один, недалеко, вёрст за сто отсюда, там у меня есть хорошие дружки!

– Ты, – мол, – сначала расскажи-ка, что хотел, а потом я подумаю, куда идти.

Шагаем мы с ним по тропе вдоль дороги, и снова я слышу звонкий голос его, странные слова:

– Христос, первый истинно народный бог, возник из духа народа, яко птица феникс из пламени.

И тотчас же сам вспыхнул весь, помахивает маленькой рукою пред лицом своим, точно ловит в воздухе новые слова, и поёт:

– Долго поднимал народ на плечах своих отдельных людей, бессчётно давал им труд свой и волю свою; возвышал их над собою и покорно ждал, что увидят они с высот земных пути справедливости. Но избранники народа, восходя на вершины доступного, пьянели и, развращаясь видом власти своей, оставались на верхах, забывая о том, кто их возвёл, становясь не радостным облегчением, но тяжким гнётом земли. Когда видел народ, что дети, вспоённые кровью его, – враги ему, терял он веру в них, разрушалось величие и сила их царств. Понял народ, что закон жизни не в том, чтобы возвысить одного из семьи и, питая его волею своей, – его разумом жить, но в том истинный закон, чтобы всем подняться к высоте, каждому своими глазами осмотреть пути жизни, – день сознания народом необходимости равенства людей и был днём рождества Христова! Многие народы разное пытались воплотить свои мечты о справедливости в живое лицо, создать господа для всех равного, и не однажды отдельные люди, подчиняясь напору мысли народной, старались оковать её крепкими словами, дабы жила она вечно. И когда все эти мысли были сплочены – возник из них живой бог, любезное дитя народа – Иисус Христос!

То, что он говорил о Христе, юном боге, было близко мне, но народа, Христа рождающего, – не могу понять.



Говорю это ему, а он отвечает:

- Хочешь знать - поймёшь, хочешь верить - будешь знать!

Трое суток шагали мы с ним не торопясь, и всё время поучал он меня, показывая прошлое.

Рассказал всю историю жизни народа вплоть до того дня; говорил о Смутном времени и о том, как церковь воздвигнула гонения на скоморохов, весёлых людей, которые будили память народа и шутками своими сеяли правду в нём.

- Понимаешь, - говорит, - кто Савёлка твой?

- Вижу, - мол.

- То-то! Помни: маленькое - от великого, а великое сложено из малых частей!

Дошли мы до Стефана Верхотурского, сказал мне старик:

- Отсюда я - в сторону, а тебе со мной нет пути.

Не хочется отходить от него, а вижу - надо, ибо - одолевают меня мысли его, разбудил он меня до глубины и как плугом вспахал душу мне.

- Что задумался? - спрашивает. - Иди-ка на завод да работай там и с дружками моими толкуй; не проиграешь, поверь! Народ - ясный, вот я у них учился и, видишь, - не глуп, а?

Написал какую-то записку, сунул мне.

- Ей-ей - иди туда! Не худа желаю тебе, увидишь! Народ новорождённый и живой! Не веришь?

- Много, - мол, - видят небольшие глаза, да есть ли то, что им кажется?

- Ты, - кричит, - всем составом гляди! Сердцем, духом! Разве я тебе говорю - верь? Я говорю - узнавай!

Поцеловались мы, и пошёл он. Легко идёт, точно двадцать лет ему и впереди ждут одни радости. Скучно мне стало глядеть вслед этой птице, улетающей от меня неизвестно куда, чтобы снова петь там свою песнь. В голове у меня - неладно, возятся там мысли, как хохлы ранним утром на ярмарке: сонно, неуклюже, медленно - и никак не могут разложиться в порядке. Всё странно спуталось: у моей мысли чужой конец, у чужой - моё начало. И досадно мне и смешно - весь я точно измят внутри.

Ещё как вышел я из Верхотурья и спросил, куда дорога, мне ответили:

- На Исетский завод.

Туда и посылал меня старик, а потому я сейчас же свернул в сторону. Не хочу туда.

Хожу по деревням, посматриваю. Угрюм и дерзок народ, не хочется ни с кем говорить. Смотрят все подозрительно, видимо, опасаются, не украл бы чего.

"Богостроители, - думаю я, поглядывая на корявых мужичков. - Спрошу: куда дорога?"

- На Исетский завод.

"Что тут - все дороги на этот завод?" - думаю и кружусь по деревням, по лесам, ползаю, словно жук в траве, вижу издали эти заводы. Дымят они, но не манят меня. Кажется, что потерял я половину себя, и не могу понять чего хочу? Плохо мне. Серая, ленивая досада колеблется в душе, искрами вспыхивает злой смешок, и хочется мне обижать всех людей и себя самого.

И вдруг незаметно для себя решил: пойду на завод, чёрт с ним!

Вот пришёл я в некий грязный ад: в лощине, между гор, покрытых изрубленным лесом, припали на земле корпуса; над крышами у них пламя кверху рвётся, высунулись в небо длинные трубы, отовсюду сочится пар и дым, земля сажей испачкана, молот гулко ухает; грохот, визг и дикий скрип сотрясают дымный воздух. Всюду железо, дрова, кирпич, дым, пар, вонь, и в этой ямине, полной всякой тяжкой всячины, мелькают люди, чёрные, как головни.

"Спасибо, старичок! – думаю. – Направил ты меня хорошо!"

Первый раз близко вижу завод, гложу с непривычки, и дышать тяжело.

Хожу по улицам, ищу слесаря Петра Ягих. Кого ни спрошу – огрызаются, точно утром все передрались между собой и ещё не успели успокоиться.

Восклицаю про себя:

"Богостроители!"

Идёт встречу мужчина, подобный медведю, чумазый весь с ног до головы; блестит на солнце жирной грязью своей одежды; спрашиваю я, не знает ли он слесаря Петра Ягих.

– чего?

– Пётр Ягих.

– На что?

– Нужно.

– Это я!

– Здравствуйте!

– Ну, здравствуй! А ещё что?

– Записка вам.

Мужчина ростом выше меня, широкобородый, плечистый, тяжёлый, лицо – в саже, маленькие, серые глазки едва видны из-под густых бровей, шапка на затылке, волосы гладко острижены. Похож и не похож на мужика.

Читает, видимо, с трудом, лицо у него всё сморщилось, усы дрожат. И вдруг – растаяло лицо, блеснули белые зубы, открылись добрые детские глаза, кожа на щеках лоснится.

– Ага, – кричит, – жив, божий петушок! Добро. Иди, малый, в конец улицы, свороти налево к лесу, под горой дом с зелёными ставнями, спроси учителя, зовут – Михаила, мой племяш. Покажи ему записку; я скоро приду, айда!

Говорит, как солдат на трубе сигнал играет, сказал, махнул рукой и пошёл прочь.

"На первый раз, – думаю я, – и это забавно!"

Дома встретил меня угловатый парень в ситцевой рубаше и фартуке, рукава засучены, руки – белые и тонкие. Прочитав записку, спрашивает:

– Как здоров отец Иона?

– Слава богу.

– Не обещал ли к нам зайти?

– Не говорил. А разве его Ионой зовут?

Парень подозрительно взглянул на меня, ещё раз прочитал записку.

- А как же? - говорит.

- Он себя Иегудиилом назвал.

Улыбается парень.

- Это - прозвище, это я его так зову.

"Ишь ты", - думаю.

Волосы у него прямые, длинные, как у дьякона, лицо бледное, глаза водянисто-голубые, и весь он какой-то нездешний, видно, не этого грязного куска земли. Ходит по комнате и меряет меня глазами, как сукно; мне это не нравится.

- Вы, - говорит, - давно знаете Иону?

- Четверо суток.

- Четверо суток? - повторяет он. - Это - хорошо.

- Почему хорошо? - спрашиваю.

- Так уж! - говорит, пожимая плечами.

- А почему вы в фартуке?

- Книги, - говорит, - переплетал! - Скоро дядя придёт, будем ужинать; может быть, вы с дороги помоетесь?

Хочется мне дерзить ему, - больно он солиден, не по летам это.

- Разве, - мол, - здесь умываются?

Поднял брови.

- А как же?

- Не видал я умытых-то! - говорю.

Он прищурил глаза, поглядел на меня и спокойно таково говорит:

- Здесь люди не бездельничают, а работают; часто умываться времени нет.

Вижу - налетел я с ковшом на брагу, хочу ему ответить, а он повернулся и ушёл. Сижу я в дураках, смотрю. Комната - большая, чистая, в углу стол для ужина накрыт, на стенах - полки с книгами, книги - светские, но есть библия, евангелие и старый славянский псалтирь. Вышел на двор, моюсь. Дядя идёт, картуз ещё больше на затылке, руками махает и голову держит вперёд, как бык.

- Ну-ка, я помоюсь, - говорит, - плесни-ка мне воды!

Голосище - труба, пригоршни - с добрую чашку для щей. Смыл он несколько сажи - оказалось под нею скуластое медно-красное лицо.

Сели ужинать, едят, разговаривая о своих делах, не спрашивая, ни кто я такой, ни зачем пришёл. Но угощают меня заботливо, смотрят ласково.

Много в них чего-то солидного, видно, что земля под ними твёрдо стоит. А мне хочется, чтобы вздрогнула, - чем они лучше меня?

- Вы - раскольники, что ли? - спрашиваю.

- Мы? - говорит дядя. - Нет.

- Значит - православные?

Племянник нахмурил брови, а дядя повёл плечами, усмехается.

- Может, надо нам, Михайла, паспорта наши показать ему?

Понимаю я, что глупо себя держу, а перестать - не хочется.

- Я, - мол, - не паспорта ваши, а мысли видеть пришёл!

Дядя - орёт:

- Мысли? Сейчас, ваше превосходительство! Мысли, - стройся!

И хохочет, как три добрых жеребца.

А Михайла, заваривая чай, спокойно рассуждает:

- Я так и понимаю ваш приход. Вы не первый к нам Ионой посланы; он людей знает и пустого человека не пришлёт.

А дядя толкнул меня в лоб ладонью и всё орёт:

- Гляди веселей! Да не ходи с козырей - проиграешься!

Видимо, считают они себя людьми зажиточной души, а я для них подобен нищему, - и вот, не торопясь, готовятся напоить от мудрости своей жаждущую душу мою. Ссориться, спорить с ними хочу, а к чему привязаться - не умею, не вижу, и это ещё больше разжигает меня. Спрашиваю зря:

- Что такое - пустой человек?

Дядя отвечает:

- А которого всем, чем хочешь, набить можно!

Вдруг Михайла тихонько подвинулся ко мне и мягким голосом осведомляется:

- Вы в бога веруете?

- Верую.

Но сконфузился я после ответа своего: не то! Разве я - верую?

Михайла снова спрашивает:

- А людей - уважаете?

- Нет, - отвечаю.

- Разве, - говорит, - не кажется вам, что они созданы по образу и подобию бога?

Дядя, чёрт его возьми, ухмыляется, как медный таз на солнце.

"Нет, - думаю, - с этими надо бороться искренностью; развалюсь перед ними весь на куски, пусть-ка складывают!"

И говорю:

- Глядя на людей, усомнился я в силе господи...

Снова не то: усомнился я в боге раньше, чем увидел людей. Михайла, округлив глаза, задумчиво смотрит мне в лицо, а дядя тяжело шагает по комнате, гладит бороду и тихонько мычит. Нехорошо мне перед ними, что унижаю себя ложью. В душе у меня бестолково и тревожно; как испуганный рой пчёл, кружатся мысли, и стал я раздражённо изгонять их - хочу опустошить себя. Долго говорил, не заботясь о связности речи, и, пожалуй, нарочно путал её: коли они умники, то должны всё разобрать. Устал и задорно спрашиваю:

- Чем же и как полечите вы больную душу?

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
Михайла, тихо и не глядя на меня, говорит:

- Не считаю я вас больным...

Дядя опять хохочет - гремит, словно чёрт с полатей свалился.

- Болезнь, - продолжает Михайла, - это когда человек не чувствует себя, а знает только свою боль да ею и живёт! Но вы, как видно, себя не потеряли: вот вы ищете радостей жизни, - это доступно только здоровому.

- А отчего же у меня душа так ноет?

- Оттого, - говорит, - что вам это приятно!

Я даже зубами скрипнул - невыносимо для меня его спокойствие.

- Наверно, - мол, - знаете, что приятно?

Смотрит он прямо в глаза и, не торопясь, заколачивает гвозди в грудь мою.

- Как искренний человек, вы, - говорит, - должны сознаться, что эта боль вашей души необходима вам - она вас ставит выше людей; вы и бережете её как некоторое отличие ваше от других; не так ли?

Постное лицо его высохло, вытянулось, глаза потемнели, гладит он щеку свою рукой и чистит меня, как медь песком.

- Видимо, боитесь вы смешать себя с людьми и потому - может быть, безотчётно - думаете: хоть болячки, да мои! И таких болячек - ни у кого нет, кроме меня!

Хочу возражать ему - не нахожу слов. Моложе он меня, - не верится мне, что я глупей его. Дядя гогочет, как поп в бане на полке.

- Но это вас от людей не отличает, вы ошибаетесь, - говорит Михаила. Все так думают. Оттого и бессильна, оттого и уродлива жизнь. Каждый старается отойти от жизни вбок, выкопать в земле свою норку и из неё одиноко рассматривать мир; из норы жизнь кажется низкой, ничтожной; видеть её такую - выгодно уединённому! Это я говорю про тех людей, которые почему-нибудь не в силах сесть верхом на ближнего и подъехать на спине его туда, где вкуснее кормят.

Злят меня его речи и обидны они.

- Началась, - говорит, - эта дрянная и недостойная разума человеческое жизнь с того дня, как первая человеческая личность оторвалась от чудотворной силы народа, от массы, матери своей, и сжалась со страха перед одиночеством и бессилием своим в ничтожный и злой комок мелких желаний, комок, который наречён был - "я". Вот это самое "я" и есть злейший враг человека! На дело самозащиты своей и утверждения своего среди земли оно бесполезно убило все силы духа, все великие способности к созданию духовных благ.

Кажется мне, слышу я речь уже знакомую, слова, которых давно и тайно ждал.

- Нищее духом, оно бессильно в творчестве. Глухо оно к жизни, слепо и немотно, цель его - самозащита, покой и уют. Всё новое, истинно человеческое, создаётся им по необходимости, после множества толчков извне, с величайшим трудом, и не только не ценится другими "я", но и ненавистно им и гонимо. Враждебно потому, что, памятуя свое родство с целым, отколотое от него "я" стремится объединить разбитое и разрозненное снова в целое и величественное.

Слушаю и удивляюсь: всё это понятно мне и не только понятно, но кажется близким, верным. Как будто я и сам давно уже думал так, но - без слов, а теперь нашлись слова и стройно ложатся предо мною, как ступени лестницы вдаль и вверх. Вспоминаю Ионины речи, оживают они для меня ярко и красочно. Но в то же время беспокойно и неловко мне, как будто стою на рыхлой льдине реки весной. Дядя незаметно ушёл, мы вдвоём сидим, огня в комнате нет, ночь лунная, в душе у меня тоже лунная мгла.

О полночь кончил Михайла свои речи, повёл меня спать на двор, в сарай; легли мы

там на сене, и скоро он заснул, а я вышел за ворота, сел на какие-то брёвна, смотрю...

Две звезды большие сторожами в небесах идут. Над горой в синем небе чётко видно зубчатую стену леса, а на горе весь лес изрублен, изрезан, земля изранена чёрными ямами. Внизу – завод жадно оскалил красные зубы: гудит, дымит, по-над крышами его мечется огонь, рвётся кверху, не может оторваться, растекается дымом. Пахнет гарью, душно мне.

Размышляю о горестном одиночестве человека. Интересно говорит Михаила, мыслям своим верует, вижу я их правду, но – почему холодно мне? Не сливается моя душа с душою этого человека, стоит она одиноко, как среди пустыни...

И вдруг вижу, что я думаю словами Ионы и Михайлы, и что их мысли уже властно живут во мне, – хотя и сверх всего, хотя и шевелится в глубине враждебное им и наблюдающее.

Где же – я, и что – моё? Кружусь в недоумениях моих, как волчок, и всё быстрее, так, что в ушах у меня шум, тихий вихрь.

На заводе свисток заныл – сначала тонко и жалобно, потом разревелся густо и повелительно. С гор – утро сонно смотрит; ночь, спускаясь вниз, тихо снимает с деревьев тонкое покрывало своё, свёртывает его, прячет в лощинах и ямах. Обнажается ограбленная земля – выщипано всё вокруг и обглодано, точно по лощине некий великан-озорник прыгал, вырывая полосы леса, нанося земле глубокие раны. В котловине развалился завод этот грязный, жирный, окутан дымом – и сопит. Тянутся к нему со всех сторон тёмные люди, он их глотает одного за другим.

"Богостроители! – думаю. – Настроили!"

Дядя вышел за ворота, растрёпанный, чешется, зевает, скулы у него хрустят, улыбается мне.

– Ага, – кричит, – ты встал?

Но тотчас же ласково спрашивает:

– Али не ложишься? Ну, ничего, днём поспишь! Айда-ка, выпьем чаю!

За чаем он говорит:

– И я, браток, ночей не спал, было время, и всех по ромам бить хотел! Я ещё до солдатчины был духом смущён, а там оглушили меня – ударил ротный по уху – не слышу на правое-то. Мне фершал один помог, дай ему...

Хотел, видимо, помянуть имя божие, но остановился, подёргал себя за бороду, ухмыляется. Показалось мне в этом нечто ребячье, да и глаза его по-детски светят – просто, доверчиво.

– Очень хороший человек! Углядел он меня – что такое? Я говорю: "Разве же это человеческая жизнь?" – "Верно, отвечает, – всё надо переделать! Давай-ка, говорит, Пётр Васильев, я тебя буду политической экономии учить!" И – начал. Сначала я не понимал ничего, а потом – сразу уразумел всё это безобразие ежедневное и вечное. Так почти с ума сошёл от радости, – ах вы, сволочь, кричу! Это ведь сразу открывается, наука-то: сначала слышишь одни только новые слова, потом придёт минута такая – всё вдруг сложится и обратится в свет! И эта минута – настоящее рождение человека – удивительна!

Лицо у него стало радостным, глаза мягко улыбаются, кивает стриженной головой и говорит:

– Это тебя ждёт!

Приятно смотреть на него – увеличивается в нём детское. И немножко завидно.

– Две трети жизни прожил я, как лошадь, – обидно! Ну, ничего, нагоню сколько можно! Только не прыток я умом. Ум, как рука, тоже требует упражнения. А у меня руки умнее головы.

Смотрю я на него и думаю:

"Почему эти люди не боятся говорить обо всём?"

- Зато, - продолжает он, - у Мишки на двоих разума! Начётчик! Ты погоди - он себя развернёт! Его заводский поп ересиархом назвал. Жаль, с богом у него путаница в голове! Это - от матери. Сестра моя знаменитая была женщина по божественной части, из православия в раскол ушла, а из раскола её - вышибли.

Говоря, собирается он на работу, суётся из угла в угол, и всё вокруг его трещит, стулья падают, пол ходуном ходит. Смешно мне и мило видеть его таким.

"Что это за люди?" - думаю.

- Мне дня три можно у вас прожить?

- Валяй, - говорит, - хоть три месяца! Чудак! Мы - не стесняемся, слава богу!

Почесал голову и, ухмыляясь, объявил:

- Нет-нет, а всё бога вспомнешь! Привычка!

Снова загудел завод, и дядя ушёл. А я направился в сарай. Лежит там Михайла, брови строго нахмурил, руки на груди, лицо румяное. Безбородый, безусый, скуластый, весь - одна кость крепкая.

"Что это за люди?.."

С этим я и уснул.

А проснулся - шум, свист, гам, как на соборе всех чертей. Смотрю в дверь - полон двор мальчишек, а Михайла в белой рубахе среди них, как парусная лодка между малых челноков. Стоит и хохочет. Голову закинул, рот раскрыт, глаза прищурены, и совсем не похож на вчерашнего, постного человека. Ребята в синем, красном, в розовом - горят на солнце, прыгают, орут. Потянуло меня к ним, вылез из сарая, один увидал меня и кричит:

- Гляди, братцы, мона-ах!

И словно стружки сухие поджёг - вспыхнули дети, завертелись, галдят, сверкают...

- Ка-кой рыжай!

- Волосищи-то!

- Он те даст тютю!

- Эх, язви его, здоров же!

- Не монах, а колокольня!

- Михаил Иванов - это кто?

Учитель несколько сконфузился, а они хохочут, черти. Уж не знаю, чем я был смешон им, но и меня заразили - смеюсь и кричу:

- Брысь, мыши!

А тут солнце, цветной шум в воздухе - и точно всё вокруг, вздрагивая радостно и буйно, мчится куда-то пёстрым вихрем и несёт меня с собой, ослепляя светом, кутая теплом. Михаила здороваётся, руку жмёт.

- Мы, - говорит, - в лес идём, не хотите ли с нами?

Очень хорошо всё: какой-то пузатый чертёнок поддел мою скуфейку, напялил на голову себе и мотыльком летает по двору.

Пошёл я с этой ватагой безумных в лес; день тот был для меня весьма памятен.

Высыпались ребята на улицу и легко, как перья по ветру, несутся в гору, а я иду рядом с их пастырем, и кажется мне, что впервые вижу таких приятных детей. Мы с Михайлой идём сзади их, он командует, покрикивает, детишки не слушают его – толкаются, борются, лукают друг в друга сосновыми шишками, спорят. А когда устали, окружили нас, вертятся под ногами, как жуки, дёргают за руки учителя своего, спрашивают что-то о травах и цветах. Всем он говорит дружески, как равный им, и возвышается над ними, словно белый парус. Все детишки бойкие, но иные из них – не по возрасту солидны и задумчивы, держатся около учителя и молчат.

Потом дети снова несколько рассеялись, и Михаила тихо сказал мне:

– Разве они созданы только для работы и пьянства? Каждый из них вместилище духа живого, и могли бы они ускорить рост мысли, освобождающей нас из плена недоумений наших. А войдут они в то же тёмное и тесное русло, в котором мутно протекают дни жизни их отцов. Прикажут им работать и запретят думать. Многие из них – а может быть, и все – подчинятся мёртвой силе и послужат ей. Вот источник горя земли: нет свободы росту духа человеческого!

Он говорит, а рядом идут несколько мальчишек и слушают его; забавно это внимание! Что могут понять юные ростки жизни в его речах? Вспоминаю я своего учителя, – бил он детей линейкой по головам и часто бывал выпивши.

– Жизнь наполнена страхом, – говорит Михайла, – силы духа человеческого поедает взаимная ненависть. Безобразна жизнь! Но – дайте детям время расти свободно, не превращайте их в рабочий скот, и свободные, бодрые – они осветят всю жизнь внутри и вне вас прекрасным огнём юной дерзости духа своего, великой красотой непрерывного деяния!

Вокруг везде – жёлтые головки, голубые глаза, румяные лица, как живые цветы в тёмной зелени хвои. Смех и звонкие голоса весёлых птиц, вестников новой жизни.

И вся эта живая красота будет потоптана жадностью. Какой тут смысл? Рождается милый ребёнок; радуясь, растёт прекрасное дитя, и вот – пакостно ругается и горько стонет человек, бьёт жену свою, гасит тоску водкой.

И, как бы отвечая думам моим, говорит Михайла:

– Разрушают народ, едино истинный храм бога живого, и сами разрушители гибнут в хаосе обломков, видят подлую работу свою и говорят: страшно! Мечутся и воют: где бог? А сами умертвили его.

Я вспоминаю речи Ионы о дроблении русского народа, и думы мои легко и славно тонут в словах Михайлы. Но не понимаю я, почему он говорит тихо, без гнева, как будто вся эта тяжкая жизнь – уже прошлое для него?

Тепло и ласково дышит земля пьяными запахами смол и цветов. Звеня, порхают птицы.

Вьются дети, победители тишины лесной, и мне всё более ясно, что до этого дня не понимал я их силы, не видел красоты.

Хорош этот Михайла среди них, со спокойной улыбкой на лице!

Говорю ему, улыбаясь:

– Уйду от вас в сторонку, надо мне подумать!

Смотрит он на меня – глаза его лучатся, ресницы дрожат, и сердце моё ответно вздрагивает.

Ласку я редко видел, ценить её умею и говорю ему:

– Хороший вы человек!

Сконфузился он, опустил глаза и этим очень смутил меня. Постояли мы друг против



Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
друга молча, разошлись. Потом он кричит мне:

- Не заходите далеко, заплутаетесь!
- Спасибо!

Свернул я в лес, выбрал место, сел. Удаляются голоса детей, тонет смех в густой зелени леса, вздыхает лес. Белки скрипят надо мной, щур поёт. Хочу обнять душой всё, что знаю и слышал за последние дни, а оно слилось в радугу, обнимает меня и влечёт в своё тихое волнение, наполняет душу; безгранично растёт она, и забыл я, потерял себя в лёгком облаке безгласных дум.

К ночи пришёл домой и сказал Михайле, что мне надо пожить с ними до поры, пока я не узнаю их веру, и чтобы дядя Пётр искал мне работы на заводе.

- Вы бы, - говорит, - не торопились; отдохните, и надо вам книги почитать!

У меня к нему доверие.

- Давайте ваши книги!
- Берите.

- Я, - мол, - светских не читывал, дайте сами, что нужнее для меня, например - историю русскую?

- Человеку - всё нужно знать! - говорит он и смотрит на книги так же ласково, как на детей.

И вот - углубился я в чтение; целыми днями читал. Трудно мне и досадно: книги со мной не спорят, они просто знают меня не хотят. Одна книга - замучила: говорилось в ней о развитии мира и человеческой жизни, против библии было написано. Всё очень просто, понятно и необходимо, но нет мне места в этой простоте, встаёт вокруг меня ряд разных сил, а я среди них - как мышь в западне. Читал я её раза два; читаю и молчу, желая сам найти в ней прореху, через которую мог бы я вылезти на свободу. Но не нахожу.

Спрашиваю учителя моего:

- Как же так? Где же - человек?

- Мне, - говорит он, - тоже кажется, что это неверно, а в чём ошибка объяснить не могу! Однако, как догадка о плане мира, это очень красиво!

Нравилось мне, когда он отвечал "не знаю", "не могу сказать", и сильно приближало это меня к нему - видна была тут его честность. Коли учитель разрешает себе сознаваться в незнании - стало быть, он знает нечто! Много он знал неизвестного мне и обо всём рассказывал удивительно просто. Говорит, бывало, о том, как создались солнце, звёзды и земля - и точно сам он видел огненную работу неведомой и мудрой руки!

Бога не понимал я у него; но это меня не беспокоило: главной силой мира он называл некое вещество, а я мысленно ставил на место вещества бога - и всё шло хорошо.

- Бог ещё не создан! - говорил он, улыбаясь.

Вопрос о боге был постоянною причиной споров Михайлы с дядей своим. Как только Михайла скажет "бог" - дядя Пётр сердится.

- Начал! Ты в это не верь, Матвей! Это он от матери заразился!

- Погоди, дядя! Бог для Матвея - коренной вопрос!

- Не ври, Мишка! Ты пошли его к чёрту, Матвей! Никаких богов! Это тёмный лес: религия, церковь и всё подобное; тёмный лес, и в нём разбойники наши! Обман!

Михаила упорно твердит:

- Бог, о котором я говорю, был, когда люди единодушно творили его из вещества своей мысли, дабы осветить тьму бытия; но когда народ разбился на рабов и владык, на части и куски, когда он разорвал свою мысль и волю, бог погиб, бог - разрушился!

- Слышишь, Матвей? - кричит дядя Пётр радостно. - Вечная память!

А племянник смотрит прямо в лицо ему и, понижая голос, продолжает:

- Главное преступление владык жизни в том, что они разрушили творческую силу народа. Будет время - вся воля народа вновь сольётся в одной точке; тогда в ней должна возникнуть необоримая и чудесная сила, и воскреснет бог! Он-то и есть тот, которого вы, Матвей, ищете!

Дядя Пётр махает руками, как дровосек.

- Не верь ему, Матвей, врёт он!

И, обращаясь к племяннику, громит его:

- Ты, Мишка, нахватался церковных мыслей, как огурцов с чужого огорода наворовал, и смущаешь людей! Коли говоришь, что рабочий народ вызван жизнью обновлять, - обновляй, а не подбирай то, что попами до дыр заносено да и брошено!

Интересно мне слушать этих людей, и удивляют они меня равенством уважения своего друг ко другу; спорят горячо, но не обижают себя ни злобой, ни руганью. Дядя Пётр, бывало, кровью весь нальётся и дрожит, а Михаила понижает голос свой и точно к земле гнёт большого мужика. Состязаются предо мной два человека, и оба они, отрицая бога, полны искренней веры.

"А какова моя вера?" - спрашиваю я себя - и не умею ответить.

Во время жизни с Михайлой думы мои о месте господи среди людей завяли, лишились силы, выпало из них бывшее упрямство, вытесненное множеством других дум. И на место вопроса: где бог? - встал другой: кто я и зачем? Для того, чтобы бога искать?

Понимаю, что это бессмысленно.

По вечерам к Михайле рабочие приходили, и тогда заводился интересный разговор: учитель говорил им о жизни, обнажая её злые законы, - удивительно хорошо знал он их и показывал ясно. Рабочие - народ молодой, огнём высушенный, в кожу им копать въелась, лица у всех тёмные, глаза озабоченные. Все до серьёзного жадны, слушают молча, хмуро; сначала они казались мне невесёлыми и робкими, но потом увидел я, что в жизни эти люди и попеть, и поплясать, и с девицами пошутить горазды.

Разговоры Михайлы и дяди его всегда касались одних предметов: власть денег, унижение рабочих, жадность хозяев, необходимость уничтожить разделение людей на сословия. Но я не рабочий, не хозяин, денег не имею и не ищу - мне эти разговоры душу не задевали. Казалось мне, что слишком большую силу придают люди капиталам и этим унижают себя. Начал я вступать в споры с Михайлой, - доказываю, что сначала человек должен найти духовную родину, тогда он и увидит место своё на земле, тогда найдёт свободу. Говорил я помногу и горячо, рабочие слушали речь мою добродушно и внимательно, как честные судьи, а которые постарше, те даже соглашались со мной.

Но кончу я, - заговорит Михаила со своей спокойной улыбкой - и сотрёт мои слова.

- Прав ты, когда говоришь, что в тайнах живёт человек и не знает, друг или враг ему бог, дух его, но - неправ, утверждая, что, невольники, окованные тяжкими цепями повседневного труда, можем мы освободиться из плена жадности, не разрушив вещественной тюрьмы... Прежде всего должны мы узнать силу ближайшего врага, изучить его хитрости. Для этого необходимо нам найти друг друга, открыть в каждом единое со всеми, и это единое - наша неодолимая, скажу - чудотворная сила! У рабов никогда не было бога, они обоготворяли человеческий закон, извне внушённый им, и вовеки не будет бога у рабов, ибо он возникает в пламени

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
сладкого сознания духовного родства каждого со всеми! Не из дресвы и обломков строятся храмы, но из крепких, цельных камней. Одиночество – суть отломленность твоя от родного целого, знак бессилия духа и слепота его; в целом ты найдёшь бессмертие, в одиночестве же – неизбежное рабство и тьма, безутешная тоска и смерть.

И когда он так говорит, то мне кажется, что глаза его видят вдали великий свет, вовлекает он меня в свой круг, и все забывают обо мне, а на него смотрят радостно.

На первых порах это обижало меня; думал я, что плохо принимают мои мысли и никто не хочет углубиться в них так охотно, как в мысли Михайлы.

Бывало, уйду незаметно от них, сяду где-нибудь в угол и тихонько беседую с гордостью своей.

Подружился я со школьниками; по праздникам окружали они меня и дядю Петра, как воробьи снопы хлеба, он им что-нибудь мастерит, а меня дети расспрашивают о Киеве, Москве, обо всём, что видел. Но часто, бывало, вдруг кто-нибудь из них такое спросит, что я только глазами хлопаю, удивлённый.

Был там Федя Сачков – тихий и серьёзный ребёнок. Однажды иду я с ним лесом, говорю ему о Христе, и вдруг он высказывает, солидно таково:

– Не догадался Христос на всю жизнь маленьким остаться, в моих, примерно, годах! Остался бы так да и жил, обличал бы богатых, помогал бедным – и не распяли бы его, потому – маленький! Пожалели бы! А так, как он сделал, – будто и не было его...

Лет одиннадцать Феде, личико у него было бледное и прозрачное, а глаза недоверчивые.

Другой – Марк Лобов, старшего класса ученик, худой, вихрастый и острый парнишка, был великий озорник и всеобщий гонитель: насвистывает тихонько и щиплет, колотит, толкает ребят, словно молодой подпасок овец. Как-то, вижу я, донимает он одного смиренного мальчика, и уже скоро заплачет мальчик.

– Марк, – говорю я, – а если он тебе сдачи даст?

Взглянул на меня этот Марк и, усмехаясь, отвечает:

– Не даст! Он смиренный, добрый он..

– Так зачем же ты его обижаешь?

– Да так, – говорит.

И, посвистев, прибавил:

– Смиренный он!

– Ну, так что? – спрашиваю.

– А для чего же смиренные-то живут?

Сказал он это удивительно спокойно – видимо, человек уже в двенадцать лет уверен был, что смиренные люди даны для обид.

Каждый из детей по-своему мудрец, всё больше они занимают меня, всё чаще я думаю о их судьбе. Чем заслужили дети тяжёлую обидную жизнь, которая их ждёт?

Вспоминаю Христю и сына моего, вспоминаю – и возникает в душе злая мысль:

"Не потому ли запрещаете вы женщине свободно родить детей, что боитесь, как бы не родился некто опасный и враждебный вам? Не потому ли насилуется вами воля женщины, что страшен вам свободный сын её, не связанный с вами никакими узами? Воспитывая и обучая делу жизни своих детей, вы имеете время и право ослеплять их, но боитесь, что ничей ребёнок, растущий в стороне от надзора вашего, –

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
вырастет непримиримым вам врагом!"

Был на заводе и такой ничей человек – звали его Стёпа, – чёрный, как жук, рябой, без бровей, с прищуренными глазами, ловкий на все руки, весёлый паренёк.

Знакомство наше началось с того, что однажды в праздник подошёл он ко мне и спрашивает:

– Монах! Ты, слышь, незаконный? Ну вот, и я тоже!

И пошёл со мной рядом. Было ему лет пятнадцать, уже школу кончил и на заводе работал. Идёт, прищурив глаза, и расспрашивает:

– Велика земля-то?

Объяснил, как умел.

– А тебе, – мол, – на что?

– Надо! Чего я на одном месте буду торчать? Не дерево. Вот как научусь слесарить – пойду в Россию, в Москву и – ещё куда там? – везде пойду!

Говорит он так, как будто грозитя кому-то:

"я – приду!"

Стал я после этой встречи наблюдать за ним; вижу – мальчика тянет к серьёзному: где Михайловы товарищи ведут свой разговор, там и он трётся, слушает и щурит глаза, как бы прицеливаясь, куда себя направить.

И озорничает особенно: старается что-нибудь испортить тем людям, которые к начальству стоят ближе, – инструмент спрячет, сломает что-нибудь, песку подсыпает в станки.

Однажды, во время обеда, говорит мне:

– Скучно, монах, здесь!

– Почему?

– Не знаю. Жидковато люди живут! Работа да забота! Скорее бы научиться мне – отчалил бы я отсюда прочь!

И когда он говорил о будущем походе своём, то глаза его, открываясь, смело глядели вперёд, а вид он имел завоевателя, который ни во что, кроме своей силы, не верит. Нравилось мне это существо, и в речах его чувствовал я зрелость.

"Этот – не пропадёт!" – думаю, бывало, поглядывая на него. И душа занает о сынишке моём: каков он, чем будет на земле?

Стал я замечать в себе тихий трепет новых чувств, как будто от каждого человека исходит ко мне острый и тонкий луч, невидимо касается меня, неощутимо трогает сердце, и всё более чутко принимаю я эти тайные лучи. Иногда соберутся у Михайлы рабочие и как бы надышат горячее облако мысли, окутает оно меня и странно приподнимет. Вдруг все начнут с полуслова понимать меня, стою в кругу людей, и они как бы тело моё, а я их душа и воля, на этот час. И речь моя – их голос. Бывало, что сам живёшь как часть чьего-то тела, слышишь крик души своей из других уст, и пока слышишь его хорошо тебе, а минет время, замолкнет он, и – снова ты один, для себя.

Вспоминаю бывшее единение с богом в молитвах моих: хорошо было, когда я исчезал из памяти своей, переставал быть! Но в слиянии с людьми не уходил и от себя, но как бы вырастал, возвышался над собою, и увеличивалась сила духа моего во много раз. И тут было самозабвение, но оно не уничтожало меня, а лишь гасило горькие мысли мои и тревогу за моё одиночество.

Догадка эта пришла ко мне бесплотной и неясной: чувствую, что растёт в душе новое зерно, но понять его не могу; только замечаю, что влечёт меня к людям всё

более настойчиво.

В те дни работал я на заводе за сорок копеек подённо, таскал на плечах и возил тачкой разные тяжести – чугуны, шлак, кирпич – и ненавидел это адское место со всей его грязью, ревом, гомоном и мучительной телу жарой.

Вцепился завод в землю, придавил её и, ненасытно алчный, сосёт дни и ночи, задыхаясь от жадности, воет, выплёвывая из раскалённых пастей огненную кровь земли. Остынет она, почернеет, – он снова плавит, гудит, гремит, расплющивая красное железо, брызжет искрами и, весь вздрагивая, тянет длинные живые полосы, словно жилы из тела земного.

Вижу в этой дикой работе нечто страшное, доведённое до безумия. Воющее чудовище, опустошая недра земли, копает пропасть под собой и, зная, что когда-то провалится в неё, озлобленно визжит тысячью голосов:

– Скорей, скорей, скорей!

В огне и громе, в дожде огненных искр работают почерневшие люди, кажется, что нет им места здесь, ибо всё вокруг грозит испепелить пламенной смертью, задавить тяжким железом; всё оглушает и слепит, сушит кровь нестерпимая жара, а они спокойно делают своё дело, возьмётся хозяйски уверенно, как черти в аду, ничего не боясь, всё зная.

Ворочают крепкими руками малые рычаги, и всюду – вокруг людей, над головами у них – покорно и страшно двигаются челюсти и лапы огромных машин, пережёвывая железо... Трудно понять, чей ум, чья воля главенствуют здесь! Иной раз кажется, что человек взнуздан завод и правит им, как желает, а иногда видишь, что и люди и весь завод повинуются дьяволу, а он торжественно и пакостно хохочет, видя бессмыслицу тяжкой возни, руководимой жадностью.

Говорят рабочие друг другу:

– Пора на работу вставать, эй!

Но люди на ней стоят или она их гнетёт и давит – не понимаю! Тяжела работа и властна, но остёр и ловок человеческий разум!

Порою в этом адском шуме и возне машин вдруг победительно и беззаботно вспыхнет весёлая песня, – улыбаюсь я в душе, вспоминая Иванушку-дурачка на ките по дороге в небеса за чудесной жар-птицей.

Народ на заводе – по недугу мне: всё этикие резкие люди, смелые, и хотя матерщинники, похабники и часто пьяницы, но свободный, бесстрашный народ. Не похож он на странников и холопов земли, которые обижали меня своей робостью, растерянной душой, безнадёжной печалью, мелкой жуликоватостью в делах с богом и промеж себя.

Эти люди в мыслях дерзкие, и хотя озлоблены каторжным трудом ссорятся, даже дерутся друг с другом, – но ежели начальство нарушает справедливость, все они встают против его, почти как один.

А те парни, которые к Михайле ходят, всегда впереди, говорят громче всех и совершенно ничего не боятся. Раньше, когда я о народе не думал, то и людей не замечал, а теперь смотрю на них и всё хочу разнообразие открыть, чтобы каждый предо мной отдельно стоял. И добиваюсь этого и – нет: речи разные, и у каждого своё лицо, но вера у всех одна и намерение едино, – не торопясь, но дружно и усердно строят они нечто.

Каждый из них среди людей – светел и приятен, как поляна в густом лесу для заплутавшегося; каждый тянет к себе рабочих, которые посмышлёнее, и все Михайловы ребята в одном плане держатся, образуя на заводе некий духовный круг и костёр светло горящих мыслей.

Сначала – неласково приняли меня, покрикивают, посмеиваются:

– Эй ты, рыжая муха! Священный клоп! Дармоед! Захребетник!

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Иной раз и толкнёт кто-нибудь, но этого я терпеть не мог и в таких случаях кулака не жалел. Но хотя людям сила и нравится, а кулаком ни уважения, ни внимания к себе не выколотишь, и быть бы мне сильно битому, если б в одну из моих ссор не вмешался Михайлов дружок Гаврила Костин, молодой литейщик, весьма красивый парень и очень заметный на заводе.

Лезло на меня человек шесть и не добром они грозили бокам моим, но он встал рядом со мной и говорит:

- Зачем же, товарищи, дразнить человека? Разве он не такой же рабочий, как и все мы? Несправедливо действуете, товарищи, и против себя! Наша сила - в тесной дружбе...

Сказал он немного, но как-то особенно хорошо и просто, точно детям говорил: все дружки Михайлы каждым случаем пользовались, чтобы посеять его мысли. Смутил Костин противников моих, да и меня за сердце задел, - начал я тоже речь говорить:

- Я, - мол, - не потому в монахи пошёл, что сытно есть хотел, а потому, что душа голодна! Жил и вижу: везде работа вечная и голод ежедневный, жульничество и разбой, горе и слёзы, зверство и всякая тьма души. Кем же всё это установлено, где наш справедливый и мудрый бог, видит ли он изначальную, бесконечную муку людей своих?

Собралось довольно много народа, слушают серьёзно; кончил я - молчат. Потом старый модельщик Крюков говорит Костину:

- Монах-то, пожалуй, глубже видит, чем ты с товарищами! Он - с корня берёт; видал?

Мне приятно слышать такие слова, а Крюков хлопнул меня по плечу и сказал:

- Ты, брат, говори, - это хорошо! А волосищи-то всё-таки срежь хоть на аршин: грязно с этакой копной, да и людям смешно.

Кто-то, весёлый, кричит:

- И в драке неловко, гляди!

Шутят - значит, злоба погасла. Где смех, там человек; скотина не смеётся.

Костин в сторону отвёл меня.

- Ты, - говорит, - Матвей, с такими словами осторожно, за них в острог сажают, случается!

Удивился я.

- Чего?

- В острог... Знаешь? - Смеётся.

- За что?

- Да вот - за осуждение!

- Шутишь?

- Спроси, - говорит, - Михайлу, а мне надо на работу вставать.

Ушёл. Остался я очень удивлён его словами, не верится мне, но вечером Михайла всё подтвердил. Целый вечер рассказывал он мне о жестоких гонениях людей; оказалось, что за такие речи, как я говорил, и смертью казнили, и тысячи народа костями легли в Сибири, в каторге, но Иродово избиение не прекращается, и верующие тайно растут.

Тогда в душе моей всё возвысилось и осветилось иначе, все речи Михайловы и товарищей его приняли иной смысл. Прежде всего - если человек за веру свою готов

потерять свободу и жизнь, значит – он верует искренно и подобен первомученикам за Христов закон.

Все слова Михайловы соприкоснулись друг другу, расцвели и приобщились душе моей в тот час.

Не хочу сказать, что сразу принял я их и тогда же понял до глубины, но впервые тем вечером почувствовал я их родственную близость моей душе, и показалась мне тогда вся земля Вифлеемом, детской кровью насыщенной. Понятно стало горячее желание богородицы, коя, видя ад, просила Михаила архангела:

– Архангеле! Допусти меня помучиться в огне! Пусть и я разделю великие муки эти!

Только здесь не грешных, а праведников видел я: желают они разрушить ад на земле, чего ради и готовы спокойно принять все муки.

– Может быть, – говорю я Михаиле, – потому и нет теперь святых отшельников, что не от мира, а в мир пошёл человек?

– Истинная вера, – отвечает он, – необходимо является источником деяния!

– Приобщите, – прошу, – и меня к этому делу! Горит во мне всё.

– Нет, – отвечает. – Подождите и подумайте, рано вам! Если вы, с вашим характером, попадёте теперь же в петлю врага, то надолго и бесполезно затянете её. Напротив – после этой вашей речи надо вам уйти отсюда. Есть у вас много нерешённого, и для нашей работы – не свободны вы! Охватила, увлекает вас красота и величие её, но – перед вами развернулась она во всей силе – вы теперь как бы на площади стоите, и виден вам посреди её весь создаваемый храм во всей необъятности и красоте, но он строится тихой и тайной будничной работой, и если вы теперь же, плохо зная общий план, возьмётесь за неё – исчезнут для вас очертания храма, рассеется видение, не укреплённое в душе, и труд покажется вам ниже ваших сил.

– Зачем, – с тоской спрашиваю его, – вы меня гасите? Я себе место нашёл, я – рад видеть себя силой нужной...

А он спокойно и печально говорит:

– Не считаю вас способным жить по плану, не ясному вам; вижу, что ещё не возникло в духе вашем сознание связи его с духом рабочего народа. Вы для меня уже и теперь отточенная трением жизни, выдвинутая вперёд мысль народа, но сами вы не так смотрите на себя; вам ещё кажется, что вы – герой, готовый милостиво подать, от избытка сил, помощь бессильному. Вы нечто особенное, для самого себя существующее; вы для себя – начало и конец, а не продолжение прекрасного и великого бесконечного!

Начинаю я понимать, зачем он пригибает меня к земле, чувствую неясную мне правду в словах его.

– Вам снова, – говорит, – надо тронуться в путь, чтобы новыми глазами видеть жизнь народа. Книгу вы не принимаете, чтение мало вам даёт, вы всё ещё не верите, что в книгах не человеческий разум заключён, а бесконечно разнообразно выражается единое стремление духа народного к свободе; книга не ищет власти над вами, но даёт вам оружие к самоосвобождению, а вы – ещё не умеете взять в руки это оружие!

Верно он говорит: чужда мне была книга в то время. Привыкший к церковному писанию, светскую мысль понимал я с великим трудом, – живое слово давало мне больше, чем печатное. Те же мысли, которые я понимал из книг, – ложились поверх души и быстро исчезали, таяли в огне её. Не отвечали они на главный мой вопрос: каким законам подчиняется бог, чего ради, создав по образу и подобию своему, унижает меня вопреки воле моей, коя есть его же воля?

И рядом с этим – не борясь – другой вопрос живёт: с неба ли на землю нисшёл господь или с земли на небеса вознесён силою людей? И тут же горит мысль о богостроительстве, как вечном деле всего народа.

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Разрывается душа моя надвое: хочу оставаться с этими людьми, тянет меня идти проверять новые мысли мои, искать неизвестного, который похитил свободу мою и смутил дух мой.

Дядя Пётр тоже уговаривает:

- Надо тебе, Матвей, уйти на время, а то о речах твоих пошёл опасный разговор...

И скоро всё решилось как бы помимо моей воли: откуда-то с другого завода прискакал ночью верховой и объявил, что у них на заводе жандармы обыски делают и что намерены они сюда явиться.

- Эх, рано! - говорит Михайла, огорчённый.

Началась некоторая суматоха, а дядя Пётр кричит мне:

- Айда, Матвей, айда! Нечего тебе делать здесь, не ты кашу заварил, не присаживайся!

И Михайла настойчиво советует, глядя прямо в лицо мне:

- Лучше вам уйти. Пользы от вашего присутствия мало, а вред может быть!

Понимаю я, что хочется им спровадить меня, и это - обидно. Но в то же время чувствую я, что боюсь жандармов, ещё не вижу, а уже боюсь! Знаю, что нехорошо уходить от людей в час беды, и подчиняюсь их воле.

Вытурили меня. Иду в гору к лесу по зарослям между пней, спотыкаюсь, словно меня за пятки хватают, а сзади молчаливый паренёк Иван Быков спешит, с большой поноской на спине - послан прятать в лесу книги.

Добежали мы с ним до опушки, нашёл он свой тайник, укладывает в него ношу свою. Спокоен. А мне жутко. Спрашиваю его:

- А они сюда не придут?

- Кто их знает! - говорит. - Может, и сюда придут. Надо - скорее!

Парень он неуклюжий, как из дубовой колоды топором вырублен, голова большая, одно плечо выше другого, руки непомерно длинные, и голос угрюм.

- Ты - боишься? - говорю.

- Чего?

- А что придут и заберут?

- Лишь бы спрятанного не нашли, а то - пускай!

Аккуратно уложил всё в яму, зарыл, заровнял её, набросал сверху хвороста, сел на землю и говорит, видя, что я собираюсь идти:

- Сейчас тебе записку принесут, погоди.

- Какую?

- Не знаю я.

Поглядываю я из-за деревьев в ложину - хрипит завод, словно сильного человека душит кто-то. Кажется, что по улицам посёлка во тьме люди друг за другом гонятся, борются, храпят со зла, один другому кости ломают. А Иван, не торопясь, спускается вниз.

- Ты куда?

- Домой!

- А схватят?



- Я недавно в деле, меня, наверно, не знают, а и схватят - не беда. Из тюрьмы люди умнее выходят.

Вдруг кто-то громко и ясно спросил меня:

- Как же это ты, Матвей, бога не боишься, а жандармов боишься?

Гляжу я на Ивана - стоит он и задумчиво смотрит вниз.

- Ты, - мол, - что сказал?

- В тюрьме - много читают книг...

- Больше ничего?

- А разве этого мало?

Тлеет внутри меня некая ложь, и колючими искрами вспыхивают стыдные вопросы. Ночь прохладная, а мне жарко.

- Я тоже с тобой пойду!

- Не велено тебе! - строго говорит Иван. - Тебя же обязательно заберут, - ведь из-за твоих речей суматоха-то начата!

- Как?

- Поп донёс в Верхотурье.

Сел я на землю, а сам говорю:

- Тогда - надо мне идти!

Но страх мой держит меня.

- Бежит кто-то сюда! - тихо шепчет Иван. Смотрю под гору - вверх по ней тени густо ползут, небо облачно, месяц на ущербе то появится, то исчезнет в облаках, вся земля вокруг движется, и от этого бесшумного движения ещё более тошно и боязно мне. Слежу, как льются по земле потоки теней, покрывая заросли и душу мою чёрными покровами. Мелькает в кустах чья-то голова, прыгая между ветвей, как мяч.

Иван тихонько посвистывает и говорит:

- Это - Костя!

Знаю Костю, - мальчик лет пятнадцати, голубоглазый и беловолосый, слабосильный. Два года тому назад кончил в школе учиться. Михайла готовит его в помощники себе, тоже в учителя.

И понимаю, что нарочно думаю об этом: хочу посторонними мыслями свой стыд и страх заглушить.

Выскочил Костя, запыхался, голос рвётся.

- Приехали! Тебя спрашивают, монах! На... Дядя Пётр велел мне проводить тебя в Лобановский скит, идём!

Встал я, говорю Ивану:

- Прощай, брат, кланяйся всем; скажи, чтобы простили меня!

А Костя толкает и строго командует:

- Ты - иди! Кому кланяться? Всех, наверно, заберут, как курят на базар!

Пошли. Костя впереди идёт, тихонько рассказывая, что он видел там, внизу; я

шагаю за ним, и со всех сторон меня дёргает за полы, за рукава, словно спрашивает кто-то:

"Куда? Запутал людей, а сам уходишь?"

Рассуждаю вслух, как бы сам с собой:

- Значит - это за меня люди попали...

Мальчик отвечает:

- Не за тебя, а за правду! Ты разве правда? Ишь, какой хват!

Забавны его слова, и сам он мал, но чем-то задевает меня. Хочется мне оправдать себя пред ним, и начал было я выкладывать мысли мои, как нищий кусочки из сумы.

- Да, - мол, - видно, что великая неправда живёт во мне...

А он ворчит, возражая на каждое слово моё, как совесть:

- Ну уж и великая! Всё бы тебе больше других!

"Это - чужие слова", - думаю я.

- Недаром, - говорит, - Костин тебя колокольной назвал; не такой, которая в своё время к обедне зовёт, а которая звонит сама себе, оттого, что криво строена и колокола на ней плохо привязаны...

Помолчал и вдруг объявляет:

- Не люблю я тебя, монах!

- За что?

- Не знаю... Не русский, что ли, ты? Нехороший...

В другое время я рассердился бы на него, а тут - молчу. И как-то обессилел вдруг, устал до смерти.

Ночь вокруг и лес. Между деревьев густо налилась сырая тьма и застыла, и не видно, что - дерево, что - ночь. Блеснёт сверху лунный луч, переломится во плоти тьмы - и исчезнет. Тихо. Только под ногами ветки хрустят и поскрипывает сухая хвоя.

Не боится мальчик правду сказать. Все люди этой линии, начиная с Ионы, не носят страха в себе. У одних много гнева, другие - всегда веселы; больше всего среди них скромно-спокойных людей, которые как бы стыдятся показать доброе своё.

А Костя шагает по тропе, тихо светит мне его белая голова. Вспоминаю житие отрока Варфоломея, Алексея божия человека и других. Не то... Думы мои, словно кулики по болоту, с кочки на кочку прыгают.

Спрашиваю мальчика:

- Ты читал жития святых?

- Маленький был - читал. Мать заставляла. А что?

- Нравятся тебе божий угодники?

- Не знаю... Пантелеймон - нравится, Егорий тоже. Со змием дрался. Не знаю я - какая людям радость, коли десятеро из них святые стали?

Растёт Костя на моих глазах.

- Ежели, - говорит, - царская или богатого дочь во Христа поверит, да замучают её - ведь ни царь, ни богач добрее к людям от этого не бывали. В житиях не сказано, что исправлялись цари-то, мучители!

Потом, помолчав, говорит:

- Не знаю тоже, на что Христу муки нужны были. Пришёл он горе победить, а вышло...

Подумал и добавил:

- Ничего и не вышло!

Обнять захотелось мне его: жалко Костю, и Христа жалко, и тех людей, что остались в посёлке, - весь человеческий мир. И себя. Где моё место? Куда иду?

Редеет тьма короткой летней ночи, сквозь ветви сосен ручьями льётся сверху тихий свет.

- Ты не устал, Костя?

- Я? - говорит мальчик бодро. - Нет. Я люблю ночью ходить, будто сквозь её проходишь, как особенную страну.

На рассвете мы с ним легли спать. Костя в сон, как в речку, нырнул, а я в мыслях моих хожу, как нищий татарин вокруг церкви зимой. На улице вьюжно и холодно, а во храм войти - Магомет не велит.

К утру что-то надумал и, когда мальчик проснулся, говорю ему:

- Ты прости, что зря шагал со мной, - не пойду я в скит, не хочу прятаться!

Он же серьёзно взглянул и замечает:

- Да ты уж спрятался!

И, помахивая веткой, не смотрит на меня.

- Ну, прощай, голубь!

Кивнул головой:

- Прощай!

Пошёл я прочь. Оглянулся - стоит он меж деревьев, провожает меня.

- Эй! - кричит. - Прощай!

И мне стало приятно, что повторил он слово это ласковее.

Много дней шёл я, как больной, полон скуки тяжёлой. В душе моей тихий позёмок-пожар, выгорает душа, как лесная поляна, и думы вместе с тенью моей то впереди меня ползут, то сзади тащатся едким дымом. Стыдно ли было мне или что другое - не помню и не могу сказать. Родилась одна чёрная мысль и где-то, снаружи, вьётся вокруг меня, как летучая мышь:

"Безбожники, а не богостроители..."

Но тяжелее и шире всех дум была во мне, помню, некая глухая тишина, ленивый и глубокий, как мутный омут, покой, и в нём, в густой его глубине, тяжко и трудно плавают немые мысли, подобные боязливым рыбам, извиваются и не могут вынырнуть из душной глубины к свету, наверх.

Извне мало доходило до меня; как сквозь сон, помню встречи с людьми.

Где-то около Омска на сельскую ярмарку попал и там проснулся...

Сидит у дороги в пыли слепой и тянет песню, а поводырь, стоя на коленях около него, на гармонии подыгрывает. Старик смотрит в небо пустыми глазами и ржавым голосом выводит певучие слова, воскрешая старину:

- При царе ли Иване Васильеве...

А гармония глуховато подтягивает:

- У-у-у...

Опустился я на землю рядом со слепым, протянул он мне руку, подержал, опустил и, не переставая, поёт:

- А и жил-был Ермак, Тимофеев сын...

- А-а-а... - вторит гармония, и вокруг песни потихоньку собирается задумчивый народ и серьёзно слушает старину, наклоняя головы к земле.

Веет на меня сухим теплом, вижу лучи любопытных глаз, и кто-то спрашивает:

- А этот не поёт?

- Он после, погоди!

Разбойные песни я часто слышал, но не знал, из чьих слов они сложены, чья душа светит в них, а на сей раз понял это: говорит мне песня тысячами уст древнего народа:

- Я тебе, человек, и за малую твою услугу велик грех против меня прощу!

Народ всё любопытнее глядит на меня, поджигая мне душу.

Кончил старик песню, встал я и говорю:

- Православные! Вот, жил разбойник, обижал народ, грабил его... Смутился совестью, пошёл душу спасать, - захотел послужить народу буйной силою своей и - послужил! И ныне вы среди разбойников живёте, грабят они вас усердно, а чем служат вашей нужде? Какое добро от них видите?

Сгустились люди вокруг меня, точно обняли, растит их внимание силу слова моего, даёт ему звук и красоту, тону я в своей речи и - всё забыл; чувствую только, что укрепляюсь на земле и в людях, - поднимают они меня над собой, молча внушая:

"Говори! Говори всю правду, как видишь!"

Конечно, явился полицейский, кричит: "разойдись!", спрашивает, о чём крик, требует паспорт. Народ тихонько тает, как облако на солнце; полицейский интересуется, что я говорил. Иные отвечают:

- Про бога...

- Так себе, разное...

- Про бога больше...

А какой-то чернорабочий человек стоит в стороне у телеги, пристально смотрит на меня и ласково улыбается. Полицейский однако за шиворот меня схватил; хочется мне стряхнуть его, но, вижу, люди смотрят на меня искоса, вполглаза, словно спрашивают:

"А теперь что ты скажешь?"

И от их недоверия беднею я.

Однако вовремя справился, отвел руку начальства, говорю ему:

- Хочешь знать, что я сказал?

И снова начал рассказывать о несправедливой жизни, - снова сгрудился базарный народ большой толпой, полицейский теряется в ней, затирают его. Вспоминаю Костю и заводских ребят, чувствую гордость в себе и великую радость - снова я силен и как во сне... Свистит полицейский, мелькают разные лица, горит множество глаз,

качаются люди жаркой волной, подталкивают меня, и лёгок я среди них. Кто-то за плечо схватил, шепчет мне в ухо:

- Иди, иди!

И толкают, толкают меня... Вот очутился я уже на каком-то дворе, чернобородый мужчина со мной рядом и один молодец без шапки на голове. Чёрный говорит:

- Лезь через плетень!

Лезу, потом - через другой; забавно и приятно мне. "Ага! - думаю, вот вы как?"

А чернобородый торопит:

- Живо, товарищ, живо!

На ходу спрашиваю его:

- Вы - из каких?

- Из этих! - говорит.

Парень без шапки следом идёт и молчит. Прошли огороды, опустились в овраг, - по дну его ручей бежит, в кустах тропа вьётся. Взял меня чёрный за руку, смотрит в глаза и, смеясь, говорит:

- Ну, благополучного пути! Вот Федюк тебя проводит до хорошей дороги, иди!

Парень говорит ему:

- А ты сам скорей уходи - хватятся!

Чёрный согнулся и полез в гору, а я и Федюк пошли вдоль ручья.

- Что это за человек? - спрашиваю.

- Ссылный, кузнец. Тоже за политику.

- Эдаких, - мол, - я знаю!

Весело мне. А он - молчит.

Взглянул я на парня: лицо круглое, курносое, точно из камня высечено, а серые глаза далеко вперёд ушли. Говорит - глухо, идёт без шума и вытянулся весь, словно прислушивается или большая сила кверху тянет его. Руки за спиной держит, как, бывало, мой тесть.

- Ты сам - здешний?

- Попов батрак.

- А где у тебя шапка-то?

Пощупал голову, поглядел на меня и спрашивает!

- Тебе она на что?

- Так. Вечер, холодно будет...

Помолчал он, потом неохотно ворчит:

- Пёс с ней, с шапкой, - была бы голова!

Овраг всё глубже, ручей звенит слышнее, вечер встаёт из кустов.

В душе у меня неясно, а приятно, и хочется мне говорить с человеком.

- Один, - спрашиваю, - ссылный-то у вас?

Тут парень, точно шубу распахнул, весь открылся и медленно, глухо забубнил:

- Четверо. Барин из Москвы, трое рабочих с Дона. Двое - смирные, даже водку пьют, а барин и этот, Ратьков, они - говорят! Тайно. Кое с кем. А при всём народе - не решались покамест. Их тут много. Они - кругом. Сам я бирский, Митьков Фёдор. Пятый год здесь. За это время их тут было одиннадцать. В Олехином - восемь, в Шишковой - трое...

Считал он долго - десятков до шести дошёл; кончив - подумал и снова говорит, шевеля пальцами:

- Даже некоторые мужики между ними. Все говорят одно: не годится такая жизнь! Стесняет. Покуда я этого не слышал - жил спокойно. А теперь - вижу, ростом я не высок, а приходится голову нагибать, значит, верно, стесняет!

Беседует парень трудно, выдёргивает каждое слово точно из-под ног. Идёт впереди, на меня не оглядывается, широкий, крепкий. Спрашиваю:

- Грамотен?

- Знал, да позабыл. Теперь сначала обучаюсь. Ничего, могу. Надо, ну и можешь. А - надо... Ежели бы только господа говорили о стеснении жизни, так и пёс с ними, у них всегда другая вера была! Но если свой брат, бедный рабочий человек, начал, то уж, значит, верно! И потом - стало так, что иной человек из простых уже дальше барина прозревает. Значит, это общее, человечье началось. Они так и говорят: общее, человечье. А я - человек. Стало быть, и мне дорога с ними. Вот я и думаю...

Слушаю я его и говорю сам себе:

"Учись, Матвей"...

А потом говорю ему:

- Что же, - мол, - думать? Это дело - божье!

Он встал - колом воткнулся в землю, так что я его в спину толкнул, повернул ко мне лицо и строго спрашивает:

- То-то, божье ли? Вот я и думаю. Потому что указано - чти отца! И власти - они тоже, сказано, от бога. Это подтверждено знамениями. Значит, ежели старый закон изменятся, - тоже должны быть даны знамения! А где они? В сторону новых законов - нет чудес! Никаких. Всё по-старому. Вон в Нижнем мощи открыли - и даны чудеса; говорят: не те мощи, борода, дескать, у Серафима седая была, а показывают - рыжую. Да дело-то не в бороде, а в чуде. Были чудеса? Были! Они этого не признают. Считают обманом все признаки. Или говорят - это вера творит чудеса. И бывает так, что хочется мне перебить их, чтобы не смущали.

Снова стоит он, и вокруг его - ночь поднимается с земли. Круче падает тропинка, торопливее бежит ручей, и, тихо качаясь, шелестят кусты.

Я тихонько говорю человеку:

- Иди, брат!

Пошёл он. И во тьме не спотыкался, а я то и дело тыкаюсь в спину ему.

Катится он вниз, подобно камню, и в тишине гудят жуткие слова:

- Ведь ежели я поверю - тогда шабаш! Я - немилостив, нет! У меня брат в солдатах был - удавился; сестра у кумысников под Бирском в прислугах жила - ребёнок у неё от них кривоногий: четыре года, а не ходит. Значит пропала девка из-за баловства. Куда её теперь? Отец - пьяница, а старшой брат всю землю захватил. Весь я тут...

Вертимся мы с ним среди кустов в сырой тьме; ручей то уходит от нас в глубину, то снова под ноги подкатится. Над головами - бесшумно пролетают ночные птицы,

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

выше их – звёзды. Хочется мне скорее идти, а человек впереди меня не спешит и непрерывно бормочет, как бы считая мысли свои, взвешивая их тяжесть.

– Этот, чёрный, Ратьков, хороший человек! Живёт уже по новому закону. За обиженного – вступается. Меня урядник палкой бил – сейчас он урядника об землю. Посадили его на пятнадцать дён. Первое наше знакомство. Вышел он, я его спрашиваю: "Ты как это можешь выступать против начальства?" Он мне сейчас рассказал свой закон. Я к попу. А поп говорит: "Ага! ты вот какие мысли крутишь!" Ратькова в город отвезли в тюрьму, три месяца сидел, а я девятнадцать дён. Спрашивают там меня: "Он что говорил?" – "Ничего". "Чему учил?" – "Ничему не учил". Я, тоже, не дурак! Воротился Ратьков. Я говорю: "Прости меня, дурак я был". Он – только смеётся. "Ерунда", говорит.

Помолчал мой путеводитель и тише, новым голосом, продолжает:

– У него – всё ерунда! Кровью харкает – ерунда! Есть нечего – ерунда!

Вдруг выругался по-матерному, обернулся грудью ко мне и сквозь зубы свистит:

– Я всё могу понять. Брат пропал – это бывает в солдатах. И сестрино дело – не редкое. А зачем этого человека до крови замучили, этого не могу понять. Я за ним, как собака, побегу, куда велит. Он меня зовёт "земля"... "Земля", – говорит, – и смеётся. И что его всегда мучают, это мне – нож!

И снова похабно выругался, точно пьяный монах. Раскрылся овраг, развернул свои стены по полю и, наклонив их, слил с темнотой.

– Ну, – говорит мне провожатый, – прощай теперь!

Рассказал дорогу, повернул назад и скрылся во тьме. Без шапки.

Как погасли в тишине его тяжёлые шаги, сел я, не хочу дальше идти!

Плотно легла на землю ночь и спит, свежая, густая, как масло. В небе ни звёзд, ни луны, и ни одного огня вокруг, но тепло и светло мне. Гудят в моей памяти тяжёлые слова провожатого, и похож он на колокол, который долго в земле лежал, весь покрыт ею, изъеден ржавчиной, и хотя глухо звонит, а по-новому.

Стоит предо мною сельский народ, серьёзно и чутко слушая мою речь, мелькают озабоченные лица, оттирая меня в сторону от начальства.

"Вот как?" – удивлённо думаю я, и трудно поверить, что это было.

И снова думаю:

"Парень этот ищет знамений, – он сам чудо, коли мог сохранить, в ужасах жизни, любовь к человеку! И толпа, которая слушала меня, – чудо, ибо вот – не оглохла она и не ослепла, хотя долго и усердно оглушали, ослепляли её. И ещё большее чудо – Михайла с товарищами!"

Спокойно и плавно текут мои мысли, необычно это для меня и неожиданно. Осторожно разглядываю себя, тихонько обыскиваю сердце – хочу найти в нём тревоги и спорные недоумения. Улыбаюсь в безгласной темноте и боюсь пошевелиться, чтобы не расплескать незнакомую радость, коей сердце по края полно. Верю и не верю этой удивительной полноте души, неожиданной находке для меня.

Словно некая белая птица, давно уже рождённая, дремала в сумраке души моей, а я этого не знал и не чувствовал. Но вот нечаянно коснулся её, пробудилась она и тихо поёт на утре – трепещут в сердце лёгкие крылья, и от горячей песни тает лёд моего неверия, превращаясь в благодарные слёзы. Хочется мне говорить какие-то слова, встать, идти и петь песню да человека встретить бы и жадно обнять его!

Вижу пред собой лучистое лицо Ионы, милые глаза Михайлы, строгую усмешку Кости: все знакомые, милые и новые люди ожили, сошлись в моей груди и расширяют её – до боли хорошо!

Так я, бывало, в заутреню на пасху бога, себя и людей любил. Сижу и, вздрагивая, думаю:

"Господи, не ты ли это? Не ты ли это, красота красот, радость моя и счастье?"

Кругом – тьма, и в ней светлые лица верующих, тихо кругом, только моё сердце немолчно поёт.

И глажу я землю руками, глупо похлопываю ладонями по ней, точно она конь мой и чувствует ласку.

Не могу сидеть, встал и пошёл, сквозь ночь, вспоминая Костины слова, видя пред собою детскую строгость его глаз, – пошёл и, опьянённый радостью, до поздней осени ходил по миру, собирая душой щедрые и новые даяния его.

В Омске на вокзале переселенцев видел, хохлов; много земли покрыли они телом своим – великая дружина трудовой силы! Ходил между ними, слушая их мягкую речь, спрашивал:

– Не боитесь так далеко забросить себя?

Один из них, седой и согнутый работой, ответил:

– Лишь бы была под ногами земля, а на ней – всё недалеко! Тесно на земле, человек, тому, кто своим трудом должен жить; тесно, эх!

Раньше слова горя и печали пеплом ложились на сердце мне, а теперь, как острая искра, зажигают его, ибо всякое горе ныне – мое горе и недостаток свободы народу утесняет меня.

Нет людям места и времени духовно расти – и это горько, это опасно опередившему их, ибо остается он один впереди, не видят люди его, не могут подкрепить силою своей, и, одинокий, бесполезно истлевает он в огне желаний своих.

Говорю я хохлам, зная их ласковый язык:

– Века ходит народ по земле туда и сюда, ищет места, где бы мог свободно приложить силу свою для строения справедливой жизни; века ходите по земле вы, законные хозяйка её, – отчего? Кто не даёт места народу, царю земли, на троне его, кто развенчал народ, согнал его с престола и гонит из края в край, творца всех трудов, прекрасного садовника, возрадившего все красоты земли?

Разгораются очи людей, светит из них пробудившаяся человеческая душа, и моё зрение тоже становится широко и чутко: видишь на лице человека вопрос и тотчас отвечаешь на него; видишь недоверие – борешься с ним. Черпаешь силу из открытых перед тобою сердец и этой же силою объединяешь их в одно сердце.

Если, говоря людям, заденешь словом своим общее всем, тайно и глубоко погружённое в душе каждого истинно человеческое, то из глаз людей истекает лучистая сила, насыщает тебя и возносит выше их. Но не думай, что это твоя воля подняла тебя: окрылён ты скрещением в душе твоей всех сил, извне обнявших тебя, крепок силою, кою люди воплотили в тебе на сей час; разойдутся они, разрушится их дух, и снова ты – равен каждому.

Так начал я скромный свой благовест, призывая людей к новой службе, во имя новой жизни, но ещё не зная бога нового моего.

В Златоусте, в день какого-то праздника, на площади говорил, и опять полиция вмешалась, ловили меня, а народ – снова скрыл.

Познакомился я там с великолепными людьми; один из них, Яша Владыкин, студент из духовного звания, и теперь мой крепкий друг и на всю жизнь таким будет! В бога не веруя, церковную музыку любит он до слёз: играет на фисгармонии псалмы и плачет, милейший чудак.

Я его спрашиваю, смеясь:

– Отчего же ты ревёшь, еретик, афеист?

Кричит мне, потрясая руками:



– От радости, от предчувствия великих красот, кои будут сотворены! Ибо – если даже в такой суетной и грязной жизни ничтожными силами единиц уже создана столь великая красота, – что же будет содеяно на земле, когда весь духовно освобождённый мир начнёт выражать горение своей великой души в псалмах и в музыке?

Начнёт он говорить о будущем, ослепительно ясном для него, и сам удивляется видениям своим! Многим я обязан этому другу своему, равно как и Михайле.

Десятки видел я удивительных людей – один до другого посылали они меня из города в город, – иду я, как по огненным вехам, – и все они зажжены пламенем одной веры. Невозможно исчислить разнообразие людей и выразить радость при виде духовного единства всех их.

Велик народ русский, и неописуемо прекрасна жизнь!

В Казанской губернии пережил я последний удар в сердце, тот удар, который завершает строение храма.

Было это в Седьмиозёрной пустыни, за крестным ходом с чудотворной иконой божией матери: в тот день ждали возвращения иконы в обитель из города, – день торжественный.

Стоял я на пригорке над озером и смотрел: всё вокруг залито народом, и течёт тёмными волнами тело народное к воротам обители, бьётся, плещется о стены её. Нисходит солнце, и ярко красны его осенние лучи. Колокола трепещут, как птицы, готовые лететь вслед за песнью своей, и везде обнажённые головы людей краснеют в лучах солнца, подобно махровым макам.

У ворот обители – чуда ждут: в небольшой тележке молодая девица лежит неподвижно; лицо её застыло, как белый воск, серые глаза полуоткрыты, и вся жизнь её – в тихом трепете длинных ресниц.

Рядом с нею отец, высокий мужчина, лысый и седобородый, с большим носом, и мать – полная, круглолицая; подняла она брови, открыла широко глаза, смотрит вперёд, шевеля пальцами, и кажется, что сейчас закричит пронзительно и страстно.

Подходят люди, смотрят больной в лицо, а отец мерным голосом говорит, трясая бородой:

– Пожалейте, православные, помолитесь за несчастную, без рук, без ног лежит четвёртый год; попросите богородицу о помощи, возместится вам господом за святые молитвы ваши, помогите отцу–матери горе избыть!

Видимо, давно возит он дочь свою по монастырям и уже потерял надежду на излечение; выпевает неустанно одни и те же слова, а звучат они в его устах мертво. Люди слушают прошение его, вздыхая, крестятся, а ресницы девушки всё дрожат, окрыляя тоскливые глаза.

Может быть, двадцать расслабленных девиц видел я, десятки кликуш и других немощных, и всегда мне было совестно, обидно за них, – жалко бедные, лишённые силы тела, жалко их бесплодного ожидания чуда. Но никогда ещё не чувствовал я жалость с такой силой, как в этот раз.

Великая немая жалоба застыла на белом, полумёртвом лице дочери, и безгласная тоска туго охватила мать. Тяжело стало мне, отошёл я, а забыть не могу.

Тысячи глаз смотрят вдаль, и вокруг меня плывёт, точно облако, тёплый и густой шёпот:

– Несут, несут!

Тяжело и медленно поднимается в гору народ, словно тёмный вал морской, красной пеной горит над ним золото хоругвей, брызгая снопами ярких искр, и плавно качается, реет, подобно огненной птице, осиянная лучами солнца икона богоматери.

Из тела народа поднимается его могучий вздох – тысячеголосое пение:

- Заступница усердная, мати господа вышнего!

Рубят пение глухие крики:

- Шагу! Прибавь шагу! Шагу!

В раме синего леса светло улыбается озеро, тает красное солнце, утопая в лесу, вёсел медный гул колоколов. А вокруг - скорбные лица, тихий и печальный шёпот молитвы, отуманенные слезами глаза, и мелькают руки, творя крестное знамение.

Одиноко мне. Всё это для меня - заблуждение безрадостное, полное бессильного отчаяния, усталого ожидания милости.

Подходят снизу люди; лица их покрыты пылью, ручьи пота текут по щекам; дышат тяжело, смотрят странно, как бы не видя ничего, и толкаются, пошатываясь на ногах. Жалко их, жалко силу веры, распылённую в воздухе.

Нет конца течению народа!

Возбуждённо, но мрачно и как бы укоряя, несётся по воздуху мощный крик:

- Радуйся, всеблагая, радуйся!

И снова:

- Шагу! Шагу!

В целом облаке пыли сотни чёрных лиц, тысячи глаз, точно звёзды Млечного пути. Вижу я: все эти очи - как огненные искры одной души, жадно ожидающей неведомой радости.

Идут люди, как одно тело, плотно прижались друг к другу, взяли за руки и идут так быстро, как будто страшно далёк их путь, но готовы они сейчас же неустанно идти до конца его.

Душа моя дрожит великой дрожью непонятной тревоги; как молния, вспыхнуло в памяти великое слово Ионино:

"Богостроитель народ?!"

Рванул я, опрокинул встречу народу, бросился в него с горы и пошёл с ним, и запел во всю грудь:

- Радуйся, благодатная сила всех сил!

Схватили меня, обняли - и поплыл человек, тая во множестве горячих дыханий. Не было земли под ногами моими, и не было меня, и времени не было тогда, но только - радость, необъятная, как небеса. Был я раскалённым углём пламенной веры, был незаметен и велик, подобно всем, окружавшим меня во время общего полёта нашего.

- Шагу!

И неудержимо летит над землёю народ, готовый перешагнуть все преграды и пропасти, все недоумения и тёмные страхи свои.

Помню - остановилось всё около меня, возникло смятение, очутился я около тележки с больной, помню крики и ропот:

- Молебн, молебн!

Было великое возбуждение: толкали тележку, и голова девицы немощно, бессильно качалась, большие глаза её смотрели со страхом. Десятки очей обливали больную лучами, на расслабленном теле её скрестились сотни сил, вызванных к жизни повелительным желанием видеть больную восставшей с одра, и я тоже смотрел в глубину её взгляда, и невыразимо хотелось мне вместе со всеми, чтобы встала она, - не себя ради и не для неё, но для чего-то иного, пред чем и она и я - только перья птицы в огне пожара.

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Как дождь землю влагою живой, насыщал народ иссохшее тело девицы этой силою своей, шептал он и кричал ей:

- Ты - встань, милая, вставай! Подними руки-то, не бойся! Ты вставай, вставай без страха! Болезная, вставай! Милая! Подними ручки-то!

Розовые тени загорелись на мёртвом лице её, ещё больше раскрылись удивлённые и радостные глаза, и, медленно шевеля плечами, она покорно подняла дрожащие руки и послушно протянула их вперёд - уста её были открыты, и была она подобна птенцу, впервые вылетающему из гнезда своего.

Тогда всё вокруг охнуло, - словно земля - медный колокол и некий Святогор ударил в него со всей силою своей, - вздрогнул, пошатнулся народ и смешанно закричал:

- На ноги! Помогай ей! Вставай, девушка, на ноги! Поднимайте её!

Мы схватили девицу, приподняли её, поставили на землю и держим легонько, а она сгибается, как колос на ветру, и вскрикивает:

- Милые! Господи! О, владычица! Милые!

- Иди, - кричит народ, - иди!

Помню пыльное лицо в поту и слезах, а сквозь влагу слёз повелительно сверкает чудотворная сила - вера во власть свою творить чудеса.

Тихо идёт среди нас исцелённая, доверчиво жмётся ожившим телом своим к телу народа, улыбается, белая вся, как цветок, и говорит: - Пустите, я одна!

Остановилась, покачнулась - идёт. Идёт, точно по ножам, разрезающим пальцы ног её, но идёт одна, боится и смеётся, как малое дитя, и народ вокруг её тоже радостен и ласков, подобно ребёнку. Волнуется, трепещет тело её, а руки она простёрла вперёд, опираясь ими о воздух, насыщенный силою народа, и отовсюду поддерживают её сотни светлых лучей.

У ворот обители перестал я видеть её и немного опамятовался, смотрю вокруг: всюду праздник и праздничный гул, звон колокольный и властный говор народа, в небе ярко пылает заря, и озеро оделось багрянцем её отражений.

Идёт мимо меня некий человек, улыбается и спрашивает:

- Видел?

Обнял я его и поцеловал, как брата после долгой разлуки, и больше ни слова не нашлось у нас сказать друг другу; улыбаясь, молча разошлись.

... Ночью я сидел в лесу над озером, снова один, но уже навсегда и неразрывно связанный душою с народом, владыкой и чудотворцем земли.

Сидел и слушал, как всё, что видел и познал я, растёт во мне и горит единым огнём, я же отражаю этот свет снова в мир, и всё в нём пламенеет великой значительностью, одевается в чудесное, окрыляет дух мой стремлением поглотить мир, как он поглотил меня.

Нет у меня слов, чтобы передать восторг этой ночи, когда один во тьме я обнял всю землю любовью моею, встал на вершину пережитого мной и увидел мир подобным огненному потоку живых сил, бурно текущих к слиянию во единую силу, - цель её - недоступна мне.

Но я радостно понял, что недоступность цели есть источник бесконечного роста духа моего и великих красот мирских, а в бесконечности этой бесчисленность восторгов для живой души человеческой.

Наутро и солнце явилось для меня с другим лицом: видел я, как лучи его осторожно и ласково плавили тьму, сожгли её, обнажили землю от покровов ночи, и вот встала она предо мной в цветном и пышном уборе осени изумрудное поле великих игр людей и боя за свободу игр, святое место крестного хода к празднику красоты и правды.

### Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Видел я её, мать мою, в пространстве между звёзд, и как гордо смотрит она очами океанов своих в дали и глубины; видел её, как полную чашу ярко-красной, неустанно кипящей, живой крови человеческой, и видел владыку её – всесильный, бессмертный народ.

Окрыляет он жизнь её величием деяний и чаяний её, и я молился:

- Ты еси мой бог и творец всех богов, соткавший их из красот духа своего в труде и мятеже исканий твоих!

- Да не будут миру бози инии разве тебе, ибо ты един бог, творяй чудеса!

- Тако верую и исповедую!

... И – по сём возвращаюсь туда, где люди освобождают души ближних своих из плена тьмы и суеверий, собирают народ воедино, освещают пред ним тайное лицо его, помогают ему осознать силу воли своей, указывают людям единый и верный путь ко всеобщему слиянию ради великого дела – всемирного богостроительства ради!

1907-1908 г.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Впервые напечатано в "Сборнике товарищества "Знание" за 1908 год", книга двадцать третья, СПб, 1908, с подзаголовком "Повесть".

Одновременно повесть вышла отдельной книгой в издании И.П.Ладыжникова, Берлин, 1908.

В 1930 году М.Горький вспоминал: "...Исповедь" написана по рассказу одного нижегородского сектанта и по статье о нём Кудринского, "Богдана-Степанца", преподавателя нижегородской семинарии" (Архив А.М.Горького). Тогда же, в очерке "На краю земли", М.Горький указывал, что в "Исповеди" отразилось кое-что из рукописи некоего Левонтия Поморца. Эту рукопись привёз в конце 80-х годов из сибирской ссылки С.Г.Сомов и познакомил с нею молодого Горького.

Работу над "Исповедью" М.Горький начал в 1907 году и закончил в начале 1908 года. В январе 1908 года М.Горький писал К.П.Пятницкому, что он усиленно работает над повестью (Архив А.М.Горького). В феврале того же года он уведомлял И.П.Ладыжникова: "...А сейчас – кончаю повесть, кажется, интересную. Она будет названа "Житие" или как-то в этом духе. Герой странник по святым местам" (Архив А.М.Горького). 6 марта, направляя К.П.Пятницкому более половины повести, М.Горький сообщал ему, что конец её будет готов дней через пять, и просил напечатать всё произведение непременно в одном сборнике (Архив А.М.Горького).

30 июня 1908 года М.Горький писал К.П.Пятницкому, что нетерпеливо ждёт выхода "Исповеди" (в русском издании), что за границей о ней уже кричат. Не раз М.Горький говорит о повести и в дальнейшей переписке с К.П.Пятницким, относящейся к лету того же года. Однако уже к осени 1908 года в авторской оценке повести наметился известный перелом. 31 августа 1908 года М.Горький писал В.Я.Брюсову об "Исповеди": "Сам я очень недоволен ею..." (Архив А.М.Горького).

"Исповедь" писалась М.Горьким в период столыпинской реакции, о котором в "Истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)" говорится:

"Поражение революции 1905 года породило распад и разложение в среде попутчиков революции. Особенно усилились разложение и упадочничество в среде интеллигенции..."

Упадочничество и неверие коснулись также одной части партийных интеллигентов, считавших себя марксистами, но никогда не стоявших твёрдо на позициях марксизма. В числе них были такие писатели, как Богданов, Базаров, Луначарский (примыкавшие в 1905 году к большевикам), Юшкевич, Валентинов (меньшевики). Они развернули "критику" одновременно против философско-теоретических основ марксизма, то есть против диалектического материализма, и против его научно-исторических основ, то есть против исторического материализма... Часть отошедших от марксизма интеллигентов дошла до того, что стала проповедывать необходимость создания новой религии (так называемые "богоискатели" и "богостроители)" ("История

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс", Госполитиздат, 1945, стр.96-97).

Под влиянием группы Богданова-Луначарского, с которой М. Горький был в то время связан, он допустил ряд ошибок философского характера, в частности развивая идею "богостроительства", нашедшую отражение в повести "Исповедь".

Позднее, объясняя задачу, которая ставилась им в "Исповеди", М.Горький писал:

"Я - атеист. В "Исповеди" мне нужно было показать, какими путями человек может прийти от индивидуализма к коллективистическому пониманию мира... Герой "Исповеди" понимает под "богостроительством" устройство народного бытия в духе коллективистическом, в духе единения всех по пути к единой цели - освобождению человека от рабства внутреннего и внешнего" (Архив А.М.Горького).

Таковы были намерения писателя. На деле же "Исповедь" с её порочной идеей "богостроительства" давала материал для оправдания "новой" религии и поэтому была решительно осуждена В.И.Лениным.

В.И.Ленин и М.Горький, как это видно из их переписки, беседовали об "Исповеди" летом 1910 года. 22 ноября этого года В.И.Ленин писал М.Горькому из Парижа: "Когда мы беседовали с вами летом и я рассказал вам, что совсем было написал Вам огорчённое письмо об "Исповеди", но не послал его из-за начавшегося тогда раскола с махистами, то Вы ответили: "напрасно не послали" (В.И.Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т.ХIV, стр.375).

В.И.Ленин резко отрицательно отнёсся к отголоскам "богостроительства", проявившимся несколько позднее и в публицистике М.Горького. В середине ноября 1913 года, когда в ряде газет появилась статья М.Горького "Ещё о "карамазовщине", В.И.Ленин писал ему:

"Вчера прочитал в "Речи" ваш ответ на "вой" за Достоевского и готов был радоваться, а сегодня приходит ликвидаторская газета и там напечатан абзац Вашей статьи, которого в "Речи" не было.

Этот абзац таков:

"А "богоискательство" надобно н а в р е м я" (только на время?) "отложить, - это занятие бесполезное: нечего искать, где не положено. Не посеяв, не сожнёшь. Бога у вас нет, вы е щ ё" (еще!) "не создали его. Богов не ищут, - их с о з д а ю т; жизнь не выдумывают, а творят".

Выходит, что Вы против "богоискательства" только "на время"!! Выходит, что Вы против богоискательства т о л ь к о ради замены его богостроительством!!

Ну, разве это не ужасно, что у Вас выходит такая штука?

Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т.п. ничуть не больше, чем жёлтый чёрт отличается от чёрта синего. Говорить о богоискательстве не для того, чтобы высказаться против в с я к и х чертей и богов, против всякого идейного труположства (всякий боженька есть труположство - будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а строяемый боженька, всё равно), - а для предпочтения синего чёрта жёлтому, это во сто раз хуже, чем не говорить совсем.

В самых свободных странах, в таких странах, где с о в с е м неуместен призыв "к демократии, к народу, к общественности и науке", - в таких странах (Америка, Швейцария и т.п.) народ и рабочих отупляют особенно усердно именно идеей чистенького, духовного, строяемого боженьки. Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая демократической буржуазией, - именно поэтому это - самая опасная мерзость, самая гнусная "зараза". Миллион грехов, пакостей, насилий и заразы физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные "идейные" костюмы идея боженьки. Католический поп, растлевающий девушек (о котором я сейчас случайно читал в одной немецкой газете), - гораздо менее опасен именно для "демократии", чем поп без рясы, поп без грубой религии, поп идейный и

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
демократический, проповедующий созидание и сотворение боженьки. Ибо первого попа легко разоблачить, осудить и выгнать, – а второго нельзя выгнать так просто, разоблачить его в 1000 раз труднее, "осудить" его ни один "хрупкий и жалостно шаткий" обыватель не согласится.

И Вы, зная "хрупкость и жалостную шаткость" (русской: почему русской? а итальянская лучше??) м е щ а н с к о й души, смущаете эту душу ядом, наиболее сладеньким и наиболее прикрытым леденцами и всякими раскрашенными бумажками!!

Право, это ужасно.

"Довольно уже самооплеваний, заменяющих у нас самокритику".

А богостроительство не есть ли худший вид самооплевания?? Всякий человек, занимающийся строительством бога или даже только допускающий такое строительство, оплёвывает себя худшим образом, занимаясь вместо "деяний" к а к р а з самосозерцанием, самолюбованием, причем "созерцает"-то такой человек самые грязные, тупые, холопские черты или чёрточки своего "я", обожествляемые богостроительством.

С точки зрения не личной, а общественной, всякое богостроительство есть именно любовное самосозерцание тупого мещанства, хрупкой обывательщины, мечтательного "самооплевания" филистёров и мелких буржуа, "отчаявшихся и уставших" (как Вы изволили очень верно сказать про душу только не "русскую" надо бы говорить, а мещанскую, ибо еврейская, итальянская, английская – всё один чёрт, везде паршивое мещанство одинаково гнусно, а "демократическое мещанство", занятое идейным труположством, сугубо гнусно).

Вчитываясь в Вашу статью и доискиваясь, откуда у вас эта о п и с к а выйти могла, я недоумеваю. Что это? Остатки "Исповеди", которую Вы сами не одобряли?? Отголоски её??" (В.И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XVII, стр. 81-82).

В конце ноября или в начале декабря того же года, отвечая на письмо М. Горького, В.И. Ленин указывал:

"По вопросу о боге, божественном и обо всём, связанном с этим, у Вас получается противоречие – то самое, по-моему, которое я указывал в наших беседах во время нашего последнего свидания на Капри: Вы порвали (или как бы порвали) с "вперёдovцами", не заметив идейных основ "вперёдovства".

Так и теперь. Вы "раздосадованы", Вы "не можете понять, как проскользнуло слово на время" – так Вы пишете – и в то же самое время Вы защищаете идею Бога и богостроительства.

"Бог есть комплекс тех, выработанных племенем, нацией, человечеством, идей, которые будят и организуют социальные чувства, имея целью связать личность с обществом, обуздать зоологический индивидуализм".

Эта теория явно связана с теорией или теориями Богданова и Луначарского.

И она – явно неверна и явно реакционна. Наподобие христианских социалистов (худшего вида "социализма" и худшего извращения его) Вы употребляете приём, который (несмотря на ваши наилучшие намерения) повторяет фокус-покус поповщины: из идеи бога убирается прочь то, чт о исторически и житейски в ней есть (нечисть, предрассудки, освящение темноты и забитости, с одной стороны, крепостничества и монархии, с другой), причём вместо исторической и житейской реальности в идею бога вкладывается добренькая мещанская фраза (Бог = "идеи будящие и организующие социальные чувства").

Вы хотите этим сказать "доброе и хорошее", указать на "Правду-Справедливость" и тому подобное. Но это ваше доброе желание остаётся вашим личным достоянием, субъективным "невинным пожеланием". Раз вы его написали, оно пошло в массу, и его з н а ч е н и е определяется не вашим добрым пожеланием, а соотношением общественных сил, объективным соотношением классов. В силу этого соотношения в ы х о д и т (вопреки Вашей воле и независимо от вашего сознания) выходит так, что вы подкрасили, подсахарили идею клерикалов, Пуришкевичей, Николая II и гг. Струве, ибо н а д е л е идея Бога им помогает держать народ в рабстве. Приукрасив идею Бога, Вы приукрасили цепи, коими они сковывают тёмных рабочих и

Исповедь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
мужиков. Вот – скажут попы и Ко – какая хорошая и глубокая это – идея (идея Бога), как признают даже "ваши", гг. демократы, вожди, – и мы (попы и К°) служим этой идее.

Неверно, что Бог есть комплекс идей, будящих и организующих социальные чувства. Это – богдановский идеализм, затушёвывающий материальное происхождение идей. Бог есть (исторически и житейски) прежде всего комплекс идей, порождённых тупой придавленностью человека и внешней природой и классовым гнётом, – идей, закрепляющих эту придавленность, усыпляющих классовую борьбу. Было время в истории, когда, несмотря на такое происхождение и такое действительное значение идеи бога, борьба демократии и пролетариата шла в форме борьбы одной религиозной идеи против другой.

Но и это время давно прошло.

Теперь и в Европе и в России всякая, даже самая утончённая, самая благонамеренная защита или оправдание идеи бога есть оправдание реакции.

Всё ваше определение насквозь реакционно и буржуазно. Бог = комплекс идей, которые "будят и организуют социальные чувства, имея целью связать личность с обществом, обуздать зоологический индивидуализм".

Почему это реакционно? Потому, что подкрашивает поповско-крепостническую идею "обуздания" зоологии. В действительности "зоологический индивидуализм" обуздано не идея бога, обуздано его и первобытное стадо и первобытная коммуна. Идея бога всегда усыпляла и притупляла "социальные чувства", подменяя живое мертвечиной, будучи всегда идеей рабства (худшего, безысходного рабства). Никогда идея бога не "связывала личность с обществом", а всегда связывала угнетённые классы верой в божественность угнетателей.

Буржуазно ваше определение (и ненаучно, неисторично), ибо оно оперирует огульными, общими, "робинзоновскими" понятиями вообще – а не определёнными к л а с с а м и определённой исторической эпохи.

Одно дело – идея бога у дикаря зырянина и т.п. (полудикаря тоже), другое – у Струве и Ко. В обоих случаях эту идею поддерживает классовое господство (и эта идея поддерживает его). "Народное" понятие о боженьке и божецком есть "народная" тупость, забитость, темнота, совершенно такая же, как "народное представление" о царе, о лешем, о таскании жён за волосы. Как можете вы "народное представление" о боге называть "демократическим", я абсолютно не понимаю.

Что философский идеализм "всегда имеет в виду только интересы личности", это неверно. У Декарта по сравнению с Гассенди больше имелись в виду интересы личности? Или у Фихте и Гегеля против Фейербаха?

Что "богостроительство есть процесс дальнейшего развития и накопления социальных начал в индивидууме и в обществе", это прямо ужасно!! Если бы в России была свобода, ведь вас бы вся буржуазия подняла на щит за такие вещи, за эту социологию и теологию чисто буржуазного типа и характера.

Ну, пока довольно – и то затянулось письмо. Ещё раз крепко жму руку и желаю здоровья.

Ваш В.У."

(В.И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XVII, стр. 84-86).

В 1910 году в "Заметках публициста", подвергая критике платформу сторонников и защитников отзовизма, к которым принадлежали Богданов, Луначарский и др., стремившиеся использовать авторитет М. Горького в своих фракционных целях, В.И. Ленин писал: "Горький – авторитет в деле пролетарского искусства, это бесспорно. Пытаться "использовать" (в идейном, конечно, смысле) этот авторитет для укрепления махизма и отзовизма значит давать образчик того, как с авторитетами обращаться не следует.

В деле пролетарского искусства М. Горький есть громадный плюс, несмотря на его сочувствие махизму и отзовизму. В деле развития социал-демократического пролетарского движения платформа, которая обособляет в партии группу отзовистов

Исповедь. Максим Горький [gorkiymaxim.ru](http://gorkiymaxim.ru)  
и махистов, выдвигая в качестве специальной групповой задачи развитие якобы "пролетарского" искусства, есть минус, ибо эта платформа в деятельности крупного авторитета хочет закрепить и использовать как раз то, что составляет его слабую сторону, что входит отрицательной величиной в сумму приносимой им пролетариату громадной пользы" (В.И.Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т.16, стр.186-187).

Статьи и письма В.И.Ленина, а также его беседы с М.Горьким помогли писателю преодолеть допущенные ошибки.

Повесть "Исповедь" включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М.Горьким для собрания сочинений в издании "Книга".

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!